

# ГЛАВА X. Почему у государства нет истоков

## Скромное происхождение суверенитета, бюрократии и ПОЛИТИКИ

Поиск «истоков государства» имеет почти столь же долгую и полную ожесточенных споров историю, как и поиск «истоков социального неравенства», и во многом это столь же бессмысленная затея. Принято считать, что сейчас практически каждый на нашей планете живет под властью государства. Многие также считают, что такие политические образования прошлого, как Египет эпохи фараонов, Китай эпохи династии Шан, империя инков или Бенинское царство, тоже следует относить к разряду государств, по крайней мере «ранних». Однако социальные теоретики не могут достичь согласия по поводу того, чем на самом деле является государство. Проблема заключается в сложности создания такого определения государства, которое включало бы в себя все вышеперечисленные примеры, но не было бы слишком широким и оттого бессмысленным. Оказалось, что это на удивление трудная задача.

Привычное нам понятие «государства» вошло в обиход только в конце XVI века. Его предложил французский юрист Жан Боден{78}, написавший, помимо прочего, влиятельный трактат о колдовстве, оборотнях и истории магии. (Сегодня его также вспоминают за мизогинные взгляды.) Но первым систематизированное определение государства дал, по всей видимости, немецкий философ Рудольф фон Иеринг{79}, который в конце XIX века предположил, что государством следует считать любой институт, претендующий на монополию на легитимное использование силы принуждения на той или иной территории (сейчас это определение ассоциируется с социологом Максом Вебером). Согласно этому определению, правительство является «государством», если оно претендует на определенную территорию и настаивает на том, что в ее границах оно является единственным институтом, чьи представители могут убивать и избивать людей, отрезать у них части тела или запирают в клетках. Или, как подчеркнул фон Иеринг, может решать, кто еще имеет право делать это от его имени.

Определение фон Иеринга довольно хорошо работало применительно к современным государствам. Однако вскоре стало ясно, что на протяжении большей части истории человечества правители либо не претендовали на столь обширные полномочия, либо если и претендовали, то притязания эти были не более реальными, чем их утверждения о том, что они могут контролировать приливы и отливы рек, а также управлять погодой. Если мы хотим продолжить использовать определение фон Иеринга и Вебера, то нам нужно либо принять, что Вавилон эпохи Хаммурапи, Афины эпохи Сократа и Англия в правление Вильгельма Завоевателя вовсе не были государствами, либо сформулировать более гибкое и определение, учитывающее многочисленные нюансы. Марксисты предложили свою версию: они утверждали, что государства впервые появляются в истории для того, чтобы защитить позиции зарождающегося правящего класса. Их аргумент заключается в том, что как только появляется группа людей, которая постоянно живет за счет чужого труда, то она обязательно создает государственный аппарат: формально — для защиты своих прав собственности, а на самом деле — для закрепления и сохранения своих привилегий (ход мысли, довольно близкий традиции Руссо). Это определение возвращает Вавилон, Афины и средневековую Англию в разряд государств, но приводит к возникновению новых концептуальных проблем, например, как определить, что именно является эксплуатацией. Кроме того, такое определение было неприемлемым для либералов, поскольку оно исключало возможность, что институт государства может быть дружелюбным и играть благотворную роль.

На протяжении большей части XX века социальные исследователи предпочитали определять государство в чисто функциональных категориях. Они утверждали, что по мере усложнения общества возникает всё более острая потребность в создании иерархических структур управления для того, чтобы координировать все сферы жизни общества. По сути, той же самой логики до сих пор придерживается большинство современных теоретиков социальной эволюции. Они рассматривают любые свидетельства «сложного» общественного устройства как свидетельства существования некоего аппарата управления. Например, если исследователи рассматривают четырехуровневую иерархию поселений (мегаполисы, города, поселки и деревни) и если по крайней мере в некоторых из этих поселений проживают профессиональные ремесленники (гончары, кузнецы, монахи и монахини, профессиональные солдаты и музыканты), то, как бы ни был устроен аппарат управления, он *ipso facto* (лат. «в силу самого факта») представляет для них собой государство. И даже если этот аппарат не претендует на монополию использования силы и не обеспечивает интересы класса элиты, живущего за счет труда бедняков, считается, что рано или поздно он неизбежно к этому придет. У этого определения есть свои сильные стороны, особенно если речь идет об очень древних обществах, о характере и организации которых мы можем судить только по фрагментарным находкам. Однако если следовать логике этого аргумента, то получается замкнутый круг: раз государства — сложные институты, то, следовательно, любое сложное социальное устройство является государственным.

На самом деле почти все «классические» теории прошлого века исходили из одной и той же предпосылки о том, что крупное и сложное общество не может существовать без государства. Настоящим камнем преткновения был вопрос, почему так происходит. Есть ли на то весомые практические причины? Или дело в том, что любое подобное общество производит какой-то материальный излишек — например, копченую рыбу, как на северо-

западном побережье Тихого океана, — вместе с которым неизбежно появляются люди, которым удается захватить в свое распоряжение его непропорционально большую часть?

Как мы уже увидели в восьмой главе, эти предположения не совсем справедливы для самых ранних городов. Например, древний Урук не был «государством» в привычном смысле этого слова. Более того, когда в Древней Месопотамии всё же появляются иерархические структуры власти, то это происходит не в «сложных» метрополиях равнинных речных долин, а в небольших «героических обществах», находившихся в соседних предгорьях. Кроме того, эти общества отвергали принцип управления как таковой, и, следовательно, их нельзя отнести к категории «государств». Если и существует хорошая этнографическая параллель для этих групп, то можно вспомнить общества северо-западного побережья Тихого океана, где политическая власть находилась в руках хвастливой и тщеславной воинской аристократии, которая устраивала экстравагантные состязания, соревнуясь за титулы, сокровища, верность простолюдинов и владение рабами. Вспомним, что у хайда, тлинкитов и других народов не только не было ничего, что можно было бы назвать государственным аппаратом, но и полностью отсутствовали другие формальные институты управления[591].

Можно было бы утверждать, что «государства» впервые возникли в тот момент, когда две формы управления (бюрократическая и героическая) слились воедино. Но действительно ли этот вопрос настолько важен? Если монархия, аристократия, рабство и крайние формы патриархального господства могут существовать даже в отсутствие государства (а такие случаи, очевидно, имели место в прошлом); и если обслуживать сложные ирригационные системы или развивать науки и абстрактную философию возможно и в отсутствие государства (что тоже происходило), то что нам вообще дает тот факт, что одно политическое образование мы можем назвать «государством», а другое — нет? Не существует ли более интересных и важных вопросов, которыми мы могли бы задаться?

В этой главе мы исходим из того, что такие вопросы есть. Как бы выглядела история человечества, если бы вместо того, чтобы искать глубинное внутреннее сходство между режимами Древнего Египта и современной Великобритании, мы посмотрели бы на ход истории свежим взглядом? Несомненно, на большей части планеты после возникновения городов со временем появлялись могущественные царства и империи. Что было общего у них? И было ли у них вообще что-то общее? Что означает их появление в контексте истории человеческой свободы, истории равенства и его утраты? Означеновало ли появление этих царств и империй фундаментальный разрыв со всей предыдущей историей человечества и если да, то почему?

## Раздел, в котором мы излагаем теорию трех элементарных форм господства и начинаем исследовать ее последствия для человеческой истории

Лучший способ решить эту задачу — вернуться к основополагающим принципам. Мы уже говорили о фундаментальных, даже первичных формах свободы: свободе передвижения, свободе от подчинения приказам и свободе пересобирать социальные отношения. Можем ли мы по аналогии говорить об элементарных формах господства?

Вспомним, как Руссо в своем знаменитом мыслительном эксперименте<sup>{80}</sup> утверждал, что всё дело в частной собственности, и прежде всего в собственности на землю: в тот ужасный момент, когда человек впервые установил забор и сказал: «Эта территория принадлежит мне и только мне», появление всех последующих форм господства стало неизбежным, а вместе с ними неизбежными стали и все последующие катастрофы. Как мы увидели, заикленность на идее, что права собственности — основа общества и фундамент социальной власти, — чисто западный феномен, более того, если само понятие «Запад» и имеет какое-то реальное значение, то оно, по всей видимости, отсылает именно к той правовой и интеллектуальной традиции, которая рассматривает общество в подобных терминах. Поэтому если мы хотим провести мыслительный эксперимент несколько иного рода, было бы неплохо начать здесь. Что мы имеем в виду, когда говорим о том, что власть феодальной аристократии, помещного дворянства или отсутствующих землевладельцев «основывается на обладании землей»?

Часто мы используем такой язык в качестве способа прорваться сквозь воздушные замки абстрактных построений и высоколбые измышления, чтобы обратиться к простым реалиям материального мира. Например, две главные политические партии в Англии XIX века, виги и тори, любили делать вид, будто бы они спорят об идеях: либерализм свободного рынка против традиционализма. Исторический материалист мог бы возразить, что на самом деле виги представляли интересы буржуазии, а тори — интересы землевладельцев. С этим утверждением нельзя не согласиться, и было бы глупо его оспаривать. Однако мы можем поставить под сомнение то, что «земельная» (или любая другая) форма собственности является именно материальной. Безусловно, почва, камни, трава, живые изгороди, сельскохозяйственные здания и зернохранилища — это всё материальные вещи. Но когда мы говорим о «земельной собственности», то мы имеем в виду индивидуальные притязания на исключительный доступ и контроль над почвой, камнями, травой, живыми изгородями и всеми прочими предметами, располагающимися на той или иной территории. На практике это означает законное право не пускать на эту территорию никого другого. В этом смысле земля может быть по-настоящему «вашей» только в том случае, если никому не приходит в голову оспаривать ваш контроль над ней, либо же если у вас есть возможность при необходимости вызвать людей с оружием, чтобы те напугали или атаковали тех, кто не признаёт ваше право собственности или без разрешения вторгся на вашу территорию и отказывается уходить. Даже если вы сами застрелите нарушителей, вам нужно, чтобы другие были согласны с тем, что вы имели на это право. Иначе говоря, «земельная собственность» — это не почва, камни или трава. Это набор юридических представлений, поддерживаемых сложным сочетанием моральных принципов и угрозы применения насилия. На самом деле собственность на землю прекрасно иллюстрирует логику того, что Рудольф фон Иеринг назвал монополией государства на применение насилия на определенной территории, — только в данном случае речь идет о гораздо меньшей территории, чем территория национального государства.

Всё это может звучать несколько абстрактно, но это простое описание того, что происходит в реальности — о чем хорошо знает любой читатель, который когда-либо пытался засквотировать кусок земли, оккупировать здание или, тем более, свергнуть правительство. В конечном счете всё зависит от того, будет ли отдан приказ вышвырнуть вас силой, и если да, то будет ли кто-то готов этот приказ выполнить. Революции редко побеждают в открытом столкновении. Обычно революционеры выигрывают, когда большая часть военных и полицейских, посланных для подавления восстания, отказываются стрелять или просто расходятся по домам.

Значит ли это, что собственность, подобно политической власти, вырастает (как деликатно выразился председатель Мао) «из ствола винтовки», или в лучшем случае зависит от того, способны ли вы добиться лояльности специально обученных вооруженных людей?

Нет, не так. Или не совсем так.

Чтобы объяснить, почему это не так, и продолжить наш мысленный эксперимент, давайте возьмем иной вид собственности. Например, бриллиантовое ожерелье. Если Ким Кардашьян идет по улице Парижа в ожерелье стоимостью несколько миллионов долларов, она тем самым не только демонстрирует богатство, но и выставляет напоказ власть над инструментами насилия, поскольку все понимают, что она не смогла бы так разгуливать без сопровождения (видимого или нет) вооруженной охраны, обученной обезвреживать потенциальных грабителей. Все разновидности права собственности в конечном счете основываются на том, что теоретики права вроде фон Иеринга эвфемистически называют «силой». Давайте на секунду представим, что произошло бы, если бы все люди на земле внезапно стали физически неуязвимыми. Скажем, они все выпили зелье, которое действует таким образом, что никто не может нанести вред другому человеку. Смогла бы в таком случае Ким Кардашьян сохранить исключительные права на свои украшения?

Вероятно, нет, если она будет слишком часто выставлять свои украшения напоказ, поскольку в таком случае кто-нибудь наверняка их украдет. Но она сохранит украшения в том случае, если будет держать их в сейфе, код от которого будет известен только ей, и демонстрировать их только проверенной аудитории на мероприятиях, о проведении которых нельзя будет узнать заранее. Таким образом, есть второй способ обеспечить себе эксклюзивное право собственности: установить контроль над информацией. Только сама Ким и ее самые близкие доверенные лица знают, где обычно хранятся бриллианты и когда она, скорее всего, наденет их. Очевидно, это правило применимо ко всем формам собственности, подкрепленным «угрозой применения силы», — собственности на землю, на товары в магазинах и так далее. Если люди лишатся возможности наносить друг другу вред, то никто не сможет объявить какой-либо предмет абсолютно священным для себя и огородить его от «всего остального мира». Они смогут огородить его только от тех людей, которые согласятся быть исключенными.

Тем не менее давайте продолжим наш эксперимент и представим, что все люди на земле выпили еще одно зелье, в результате чего они лишились способности хранить секреты, но всё еще не могут наносить друг другу физический вред. Теперь все имеют равный доступ и к силе, и к информации. Сохранила бы Ким в таком случае свои бриллианты? Возможно. Но

только в том случае, если бы ей удалось убедить всех в том, что она, Ким Кардашьян, — настолько уникальный и экстраординарный человек, что заслуживает обладать теми вещами, которые больше никто не может себе позволить.

Мы утверждаем, что эти три принципа — назовем их контролем над насилием, контролем над информацией и личной харизмой — также являются тремя возможными основаниями социальной власти[592]. Угроза применения насилия обычно работает лучше всего, именно поэтому она легла в основу унифицированных систем права по всему миру; харизма, как правило, эфемернее всего. Обычно все три элемента в той или иной мере сосуществуют. Даже в обществах, члены которых редко применяют насилие по отношению друг к другу, вполне могут существовать иерархии, основанные на знании. Не так важно, что это за знание: это может быть какое-нибудь техническое ноу-хау (скажем, информация о том, как выплавлять медь или использовать лекарственные растения) или бесполезная ерунда с нашей точки зрения (например, информация о том, как называются двадцать семь различных видов ада и тридцать девять различных видов рая и о том, каких существ там можно встретить).

Сегодня в некоторых регионах Африки и в Папуа — Новой Гвинее легко можно обнаружить церемонии инициации, которые настолько сложны, что требуют бюрократического управления. В обществах, где в повседневной жизни отсутствуют какие-либо формальные иерархии, обряд инициации устроен таким образом, что иницируемые постепенно поднимаются на всё более высокие уровни тайного магического знания. Очевидно, что даже в тех обществах, где нет подобных иерархий знания, сохраняются индивидуальные различия. Одних людей считают более обаятельными, веселыми, умными и физически привлекательными, чем других. В силу этого определенные различия существуют даже внутри групп, которые тщательно разрабатывают меры предосторожности, призванные предотвратить появление иерархий (вспомним, например, практику ритуального высмеивания успешных охотников у «эгалитарных» собирателей хадза).

Как мы уже отмечали, эгалитарный этос может принять одну из двух форм: либо он отрицает индивидуальные различия и настаивает на том, что к людям нужно относиться так, как если бы все они были равны, либо он превозносит индивидуальные особенности и поддерживает представление о том, что все люди абсолютно разные, так что никакие общие сравнения не имеют смысла. (Как можно сравнивать лучшего рыбака с самым уважаемым старцем, самым остроумным шутником и так далее?) Иногда это приводит к тому, что некоторые «чудаки» (если их уместно так назвать) приобретают в этих обществах исключительное значение и даже становятся их лидерами. Можно вспомнить пророков у нуэров, амазонских шаманов, малагасийских мпомаси и магов-астрологов или даже тех людей, чьи останки были обнаружены в «богатых» захоронениях позднего палеолита — многие из них имели поразительные физические (и, вероятно, другие) особенности. Однако, как следует из приведенных примеров, подобные персонажи настолько необычны, что их авторитет трудно превратить в какую-либо устойчивую власть.

Эти три принципа представляют интерес по той причине, что все они легли в основу институтов, которые сегодня считаются основополагающими для современного (модерного) государства. Если мы говорим о контроле над насилием, то здесь всё очевидно.

Современные государства «суверенны»: они обладают властью, когда-то принадлежавшей царям, что на практике означает ту самую монополию на легитимное использование насилия на своей территории, о которой говорил фон Иеринг. В теории настоящий суверен обладал властью, которая была выше и вне закона. Древние правители редко имели возможность систематически применять эту власть (как мы увидели, зачастую их якобы абсолютная власть сводилась к возможности по своему усмотрению применять силу на участке земли площадью около ста квадратных метров, на которой они стояли или сидели в тот или иной момент времени). В современных государствах та же самая разновидность власти многократно усиливается, дополненная вторым принципом — бюрократией. Как давным-давно заметил великий социолог бюрократии Макс Вебер, административные органы всегда опираются не только на контроль над информацией, но и на различные «служебные тайны». Вот почему секретный агент стал мифическим символом современного государства. Джеймс Бонд с его лицензией на убийство сочетает в себе харизму, секретность и способность по своему усмотрению применять необъяснимое насилие, опираясь на огромный бюрократический аппарат.

Сочетание суверенитета и изощренных административных методов хранения и обработки информации создает множество угроз для личной свободы — именно так создаются условия для возникновения государств надзора (surveillance states) и тоталитарных режимов, — но нас всё время уверяют, что эти угрозы нивелируются третьим принципом — демократией. Современные государства являются демократическими, или, по крайней мере, принято считать, что они должны быть такими. При этом демократические институты в современных государствах работают совсем не так, как городские собрания в древности, на которых жители коллективно обсуждали общие проблемы. Скорее, демократия в современном понимании, по сути, представляет собой игру с выигравшими и проигравшими, разыгрываемую «большими людьми», где все остальные сводятся к простым наблюдателям.

Если мы хотим найти прецедент такого аспекта современной демократии в античности, то нам стоит обратить внимание не на собрания Афин, Сиракуз или Коринфа, а, как ни странно, на аристократические состязания «героических веков» вроде тех, что описываются в «Илиаде» с ее бесконечными «агонами»<sup>{81}</sup>: гонками, поединками, играми, дарами и жертвоприношениями. Как мы отмечали в девятой главе, политические философы греческих полисов позднейшего периода вообще не считали, что выборы — это демократическая форма отбора кандидатов на государственные должности. Демократическим методом считался жребий или лотерея — примерно таким же образом сейчас выбирают жюри присяжных. Выборы считались чертой аристократических режимов (аристократия означает «власть лучших»), позволявшей простолюдинам — во многом так же, как и слугам в прежних героических аристократиях, — решать, кто из людей благородного происхождения должен быть признан лучшим из всех; людьми благородного происхождения в этом контексте считались все, кто мог позволить себе тратить большую часть своего времени, играя в политику<sup>[593]</sup>.

Подобно тому как доступ к насилию, информации и харизме определяет сами возможности социального господства, так и современное государство определяется комбинацией суверенитета, бюрократии и конкурентного политического поля<sup>[594]</sup>. Поэтому кажется, что вполне логично искать в истории примеры сочетания этих трех принципов. Однако если мы

попытаемся сделать это, то обнаружим, что нет никаких особых причин считать, что они обязательно должны сочетаться друг с другом, а тем более — усиливать друг друга подобно тому, как это происходит в современных государствах. Начнем с того, что эти три элементарные формы господства имеют абсолютно разное историческое происхождение. Мы уже увидели это на примере Древней Месопотамии, где бюрократически-торговые общества речных долин изначально имели натянутые отношения с героическими обществами холмов, которыми правили бесчисленные мелкие князьки, добивавшиеся лояльности слуг при помощи зрелищных состязаний, в то время как жители холмов отвергали принцип административного управления как таковой.

Также нет никаких убедительных доказательств того, что города Древней Месопотамии (даже те из них, где правили царские династии) обладали каким-либо реальным территориальным суверенитетом. Всё это очень далеко от современного государства в зачаточном состоянии[595]. Иначе говоря, они попросту не были государствами в том смысле, который вкладывал в это понятие фон Иеринг. Однако даже если бы они были таковыми, нет особого смысла определять государство исключительно через суверенитет. Вспомните пример натчез из Луизианы, чье Великое солнце обладало абсолютной властью на территории своей (довольно маленькой) Великой деревни, где правитель мог по своему усмотрению выносить смертные приговоры и присваивать себе материальные ресурсы. При этом подданные могли игнорировать приказы правителя, если он не находился в непосредственной близости от них. Божественное царство шиллук, нилотского народа Восточной Африки, было устроено аналогичным образом. Царь мог делать почти всё что угодно с теми, кто находился рядом, но при этом у шиллук не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего административный аппарат, который мог трансформировать его суверенную власть во что-то более устойчивое и масштабное: ни системы налогообложения, ни системы, которая обеспечивала бы выполнение приказов правителя или хотя бы докладывала ему о случаях неповиновения.

Как мы видим, современные государства по сути совмещают в себе три элемента, которые случайным образом сошлись воедино в определенный момент человеческой истории, — и, возможно, мы снова сейчас находимся в процессе их распада (подумайте, например, о глобальных бюрократических системах вроде Всемирной торговой организации или Международного валютного фонда, не обладающих никаким глобальным суверенитетом). Когда историки, философы или политические исследователи спорят о происхождении государства в Древнем Перу или Китае, то они, по сути, проецируют в прошлое это довольно необычное сочетание элементов. Обычно они пытаются установить, в какой момент нечто, напоминающее суверенную власть, соединилось с тем, что напоминает административную систему (обычно считается, что конкурентное политическое поле — это второстепенный элемент). Их интересует то, каким образом и по какой причине эти три элемента соединились.

Например, стандартная история политической эволюции человечества, которую рассказывали предыдущие поколения исследователей, гласит, что государство возникло из необходимости управлять сложными ирригационными системами или, возможно, просто более крупными сообществами людей и объемами информации. Это привело к возникновению иерархической власти, которая, в свою очередь, со временем была смягчена

демократическими институтами. Получается примерно такая схема развития:

**управление → суверенитет → (спустя какое-то время) харизматическая политика**

Как мы показали в восьмой главе, свидетельства из древней Евразии указывают на другую модель: появление городских систем управления вызвало ответную культурную реакцию (еще один пример схизмогенеза) в виде возникновения враждующих между собой горных княжеств (с точки зрения городских жителей — это были «варвары»)[596]. Со временем некоторые князья стали правителями городов и оформили свою власть в систему:

**управление → харизматическая политика (в результате схизмогенеза) → суверенитет**

Так могли обстоять дела в отдельных случаях (например, в Месопотамии), но вряд ли процесс, который привел к возникновению того, что (по крайней мере, с нашей точки зрения) напоминает государство, во всех случаях протекал одинаково. На других территориях и в другие времена (часто в моменты кризиса) этот процесс может начаться с выдвижения на ведущие роли харизматических лидеров, которые побудили своих последователей полностью порвать с прошлым. Со временем такие лидеры получали абсолютную, космическую власть, которая в конечном счете трансформировалась в систему бюрократических должностей и учреждений[597]. В этом случае схема выглядит так:

**харизматическое визионерство → суверенитет → управление**

Здесь мы ставим под сомнение не какие-то конкретные формулировки, а лежащую в основе них телеологию. Все эти концепции предполагают, что у данного процесса лишь один возможный финал: различные формы господства каким-то образом должны рано или поздно объединиться и образовать современное (модерное) государство в той форме, в какой оно существовало в США и во Франции в конце XVIII века; в той форме, в которой после двух мировых войн она была постепенно навязана всему остальному миру.

Но что, если это не так?

Попробуем взглянуть на историю древнейших царств и империй без подобных предубеждений и посмотрим, что из этого выйдет. Мы не только отбрасываем вопрос об истоках государства, но и отказываемся от столь же туманных и телеологических концепций вроде «рождения цивилизации» и «усложнения общества», чтобы внимательнее посмотреть на то, что произошло на самом деле. Как впервые возникли масштабные формы господства и что они собой представляли? Каким образом они связаны с теми социальными структурами, что существуют и по сей день? (И связаны ли вообще?)

Давайте начнем с рассмотрения тех немногочисленных политических образований доколумбовой Америки, которые даже самые придирчивые к терминологии исследователи согласны называть «государствами».

# Об ацтеках, инках и майя (а также об испанцах)

Принято считать, что на момент испанского завоевания в Америках существовало только два настоящих «государства»: ацтекское и инкское. Конечно, испанцы их так не называли. Эрнан Кортес в своих письмах и сообщениях говорил о городах, царствах, а иногда и о республиках. Он не решался называть правителя ацтеков Монтесуму «императором» — вероятно, чтобы не навлечь на себя гнев своего собственного повелителя, «императора всех католиков Карла V». Но ему никогда не пришло бы в голову рассуждать о том, следует ли считать какие-то из этих царств и городов «государствами», поскольку в то время этой концепции еще, по сути, не существовало. Тем не менее именно этот вопрос занимает современных исследователей, так что давайте по очереди рассмотрим каждое из этих политических образований.

Начнем с анекдота, записанного испанцами вскоре после конкисты. Это анекдот о воспитании детей в ацтекской столице Теотиуакане незадолго до того, как город пал под натиском испанских сил: «При рождении мальчикам давали щит с четырьмя стрелами. Повитуха молилась, чтобы они стали храбрыми воинами. Их четыре раза показывали солнцу и говорили им о непредсказуемости жизни и о необходимости сражаться. Девочкам же давали веретена и челноки, символизирующие те домашние занятия, которым им предстояло посвятить себя в будущем»[598]. Сложно сказать, насколько широко была распространена эта практика, но она демонстрирует фундаментальную особенность ацтекского общества. Женщины по-прежнему занимали важные позиции в Теночтитлане, занимаясь торговлей, врачеванием и исполняя обязанности жриц. Однако они не были представлены в восходящем классе аристократов, чья власть основывалась на участии в войнах, хищническом поведении и взимании дани. Неясно, в какой именно момент ацтекские женщины начали утрачивать политическую власть (судя по некоторым признакам — например, по тому, что высокопоставленные советники при дворе носили титул Сиуакоатль, то есть «женщины-змеи», — это произошло не так давно). Что мы знаем точно, так это то, что маскулинность, которая часто выражалась через сексуализированное насилие, стала частью динамики имперской экспансии[599]. Когда в 1519 году жители Веракруза, прежде подчинявшиеся ацтекам, решили попытаться счастья с бандой неизвестных испанских авантюристов, они жаловались своим новым союзникам, что ацтеки насиловали и порабощали женщин из покоренных племен[600].

Судя по всему, ацтекским и мешикским мужчинам-аристократам жизнь представлялась бесконечным соревнованием или даже завоеванием — в этом они видели преемственность со своими предками, кочевым сообществом воинов и колонизаторов. По всей видимости, их общество представляло собой «общество захвата», которое, однако, отличалось от американских обществ позднейшего периода гораздо большим масштабом. Они держали пленников, захваченных в ходе войн, и заботились о них, чтобы поддерживать их жизненные силы (некоторые пленники содержались и вовсе в роскошных условиях). Однако в конечном счете пленников приносили в жертву в ходе ритуалов, чтобы вернуть богам первородный долг жизни и, вероятно, по целому ряду других причин. В храме Темпло Майор

в Теночтитлане кровавые жертвоприношения совершались в огромных масштабах, из-за чего некоторые испанцы решили, что правящие классы ацтеков заключили союз с дьяволом[601].

Таким образом ацтеки пытались произвести впечатление на соседей, и именно такими они оказались запечатлены в человеческом воображении: трудно выкинуть из головы образ тысяч пленников, ожидающих своей очереди, пока человек в маске, воплощающий собой бога, вырвет их сердца. Однако в остальных отношениях ацтекская форма правления образца XVI века казалась испанцам довольно знакомой — и уж точно гораздо ближе, чем все те формы правления, которые испанцы встречали на Карибских островах или в болотах и саваннах Юкатана. Ацтекская монархия, чиновничество, регулярная армия и организованная (хоть и «демоническая») религия находились на высоком уровне развития. Как отмечали некоторые испанцы, городское планирование в долине Мехико, казалось, превосходило кастильские города. Законы против излишней роскоши, не менее продуманные, чем их испанские аналоги, поддерживали солидную дистанцию между правящими и управляемыми, регламентируя все аспекты жизни: от внешнего вида до сексуальной морали. За сбором дани и налогов следили кальпиксы, назначавшиеся из простолюдинов и не имевшие возможности превратить свои знания в области управления в политическую власть, которая была уделом знати и воинов. На завоеванных территориях местная знать сохраняла свои позиции. Ее повиновение обеспечивала система патронажа, связывавшая местных аристократов с покровителями при дворе ацтеков. Эта система напоминала испанцам их собственную практику *aequae principalis*, которая гарантировала автономию новоприсоединенным территориям при условии ежегодной выплаты местной знатью десятины в пользу короны[602].

Ацтекская воинская аристократия, подобно своим новым повелителям, испанским Габсбургам, была довольно скромного происхождения, что не помешало ей создать одну из крупнейших империй в истории. Однако даже ацтекский Тройственный союз меркнул по сравнению с тем, что конкистадоры обнаружили в Перуанских Андах.

В Испании, как и на большей части Евразии, горы служили естественным убежищем для бунтовщиков, бандитов и еретиков, укрывавшихся от принудительной власти королей и императоров. Но в Перу, где жили инки, всё работало ровно наоборот: там горы стали опорой имперской власти. Этот перевернутый (с точки зрения европейцев) вверх ногами политический мир, зародившийся на вершине Андских Кордильер, назывался суперцарством Тауантинсуйу, что означает «четыре четверти»[603].

Если быть точнее, то речь идет о четырех суйу — основных административных единицах владений Сапа Инка. Правитель, резиденция которого располагалась в городе Куско, где, как говорили, даже трава была сделана из золота, периодически собирал миту (круговая порука, или барщина) с нескольких миллионов поданных, проживавших на западном побережье Южной Америки — от Кито до Сантьяго[604]. Обладая определенной степенью суверенитета над восьмьюдесятью смежными провинциями и бесчисленными этническими группами, к концу XV века инки создали что-то вроде «универсальной монархии» (*monarchia universalis*), о которой Габсбурги, правившие множеством разрозненных территорий, могли только мечтать. Тем не менее, если Тауантинсуйу и можно было считать государством, то во

многим всё еще находившимся в процессе становления.

Подобно тому как популярный образ ацтеков связывается с массовыми убийствами и кровавой резней, то инков, как правило, изображают умелыми управленцами. Как мы увидели, мыслители эпохи Просвещения вроде мадам де Графиньи и ее читателей почерпнули свое представление о государстве всеобщего благосостояния и государственном социализме из отчетов о существовавшей империи в Андах. Хотя на самом деле методы управления инков далеко не всегда были эффективными. В конце концов, мы говорим об огромной империи, протяженность территории которой превышала две тысячи пятьсот миль. В деревнях, расположенных на более-менее существенном расстоянии от Куско, Чан-Чан и других центров царской власти, имперский аппарат был представлен в лучшем случае эпизодически, и многие деревни оставались в значительной степени самоуправляемыми. Хроникеры и чиновники вроде Хуана Поло де Ондегардо-и-Сарате были заинтригованы, обнаружив, что сложный административный аппарат, характерный для андских деревень, был доморожденным, создан самими местными жителями и опирался на коллективные связи, называвшиеся айлью. Для того чтобы удовлетворить имперские требования о дани или отработке барщины, местным сообществам достаточно было слегка перестроить эти объединения[605].

Центр Инкской империи разительно отличался от имперского центра ацтеков. Монтесума при всём своем величии (в его дворце было буквально всё, от вольера с животными до помещений, где жили трупы комиков-карликов) официально был всего лишь тлатоани, то есть «первым спикером» в совете аристократов, а его империя официально называлась Тройственным союзом городов. Ацтекская империя со всеми ее кровавыми зрелищами на самом деле была конфедерацией аристократических семейств. Более того, сами эти зрелища по крайней мере частично происходили из духа аристократических состязаний, который и подталкивал ацтекскую знать к участию в публичных играх в мяч и философских дебатах. Инки, напротив, считали своего суверена воплощением Солнца. Вся власть исходила из одной точки сияния — от фигуры Сапа Инки («Уникального Инки») и далее по нисходящей шла к братьям и сестрам императора. Двор Инка был инкубатором, теплицей суверенитета. В его стенах теснились не только домочадцы царя и его сестры, которая также была его койей (королевой), но и руководители администрации, верховные жрецы и солдаты имперской гвардии — в большинстве своем кровные родственники императора.

Сапа Инка был богом и потому никогда не умирал. Тела бывших правителей сохраняли и мумифицировали во многом так же, как в Древнем Египте. Как и египетские фараоны, они продолжали править из могилы, регулярно получая подношения в виде еды и одежды из своих прижизненных владений. Но если мумии египетских фараонов покоились в гробницах, то тела инкских правителей покидали место захоронения для участия в общественных мероприятиях и финансируемых императором праздниках[606]. (Именно поэтому каждый новый правитель должен был расширять империю: от своего предшественника он получал только армию, в то время как двор, земли и слуги оставались в распоряжении покойного Инки.) Такая концентрация власти вокруг тела Инки имела и обратную сторону: королевскую власть было чрезвычайно трудно делегировать.

Самые высокопоставленные чиновники были «почетными Инка». Они не были напрямую связаны с сувереном, но им разрешалось носить такие же украшения для ушей, как у императора, и в целом они воспринимались как продолжение его личности. Иногда в дело также шли статуи-двойники и другие субституты, для которых был разработан сложный ритуальный протокол. Но любые важные события требовали личного присутствия Сапа Инки, из-за чего двор постоянно был в разъездах — император путешествовал по «четырем четвертям» на носилках, выложенных серебром и перьями. Из-за этого обстоятельства, а также из-за необходимости перемещать армии и перевозить грузы, инкам приходилось тратить огромные средства на строительство дорожных систем. На одной из самых сложных и труднопроходимых территорий в мире им удалось создать непрерывную сеть регулярно ремонтируемых дорог, мощеных троп, усеянных святилищами (уака) и перевалочными пунктами, на которые выделялись средства из императорской казны[607]. Именно в ходе ежегодного путешествия, вдали от стен Куско, последний Сапа Инка по имени Атауальпа был похищен людьми Писарро и впоследствии убит.

Как и в случае с ацтеками, консолидация Инкской империи, по всей видимости, была сопряжена с многочисленными случаями сексуализированного насилия и привела к изменениям в гендерных ролях. В этом случае то, что изначально представляло собой традиционную систему заключения браков, стало моделью для классового господства. В тех частях Анд, где существовали социальные иерархии, женщины традиционно выходили замуж за мужчин из более статусных семей. Считалось, что таким образом род жениха «завоевывает» род невесты. Со временем эта фигура речи превратилась в реальную систематически применяемую практику. Завоевав новую территорию, инки незамедлительно строили там храм и насильно превращали некоторую часть местных девственниц в «невест Солнца»: эти женщины, оторванные от своих семей, либо всю жизнь оставались девственницами, либо должны были служить Сапа Инке, который мог эксплуатировать их и распоряжаться ими по своему усмотрению. Как следствие, все подданные императора могли называться «завоеванными женщинами»[608], а местная знать в процессе борьбы за статус пыталась поставить своих дочерей на видные роли при дворе.

А что насчет прославленной административной системы инков? Она, безусловно, существовала. Административные записи в основном велись в форме веревочных сплетений и узелков, называвшихся кипу (или *quipu*, *куипу*). Они описываются в «Хронике Перу» (1553) Педро Сьеса де Леона:

“ В каждом провинциальном центре у них были счетоводы, которых называли «хранителями/распорядителями узелков» [*kipukamayucs*], и при помощи этих узелков они вели запись и учет того, что было получено в качестве дани от [жителей] района, начиная с серебра, золота, одежды, стад животных и шерсти и заканчивая самыми мелкими предметами, и при помощи тех же самых узлов им было поручено вести учет того, что получено за год, за десять или двадцать лет, чтобы ни одна пара сандалий не оказалась неучтенной[609].

Однако испанские хроникеры мало что сообщают об этой практике учета. Кроме того, после официального запрета на использование кипу в 1583 году у местных счетоводов особо не было причин фиксировать свои знания в письменном виде. Поэтому мы не знаем точно, как это работало. Хотя новые источники информации об удаленных андских общинах могут пролить некоторый свет на этот вопрос. Выясняется, что в этих общинах инкские кипу и связанные с ними формы знания продолжали использоваться вплоть до относительно недавнего времени[610]. Исследователи спорят о том, можно ли считать кипу формой письменности. Судя по имеющимся источникам, это была система исчисления, в которой цветные узелки имели свою иерархию, образуя десятичную систему от 1 до 10 000. По всей видимости, однако, самые сложные узелки использовались для передачи зашифрованной топографической и генеалогической информации, а также, скорее всего, рассказов и песен[611].

Во многих отношениях эти две великие политики, Ацтекская и Инкская, были идеальными целями для завоевания. Обе империи были организованы вокруг столичных центров, где жили легко опознаваемые правители, которых можно было захватить в плен или убить. Их подданные либо давно привыкли подчиняться приказам, либо имели склонность не подчиняться приказам власти из центра и были готовы заключить союз с конкистадорами. Если империя главным образом опирается на военную силу, то превосходящий в военном отношении противник может без особых трудностей взять под контроль ее территорию. Достаточно захватить столицу — как это сделал Кортес, в 1521 году осадивший Теночтитлан, или Писарро, в 1532 году взявший в плен Атауальпу в Кахамарке, — и дело сделано, империя пала. Завоеватели могут столкнуться с упорным сопротивлением (осада Теночтитлана продолжалась более года, в течение которого шли изнурительные городские бои), но как только оно будет сломлено, они получают в свое распоряжение уже существующую систему управления и смогут отдавать приказы подданным империи, привыкшим к повиновению.

Там, где не было таких могущественных империй — либо потому, что они попросту не появились, как в Северной Америке или Амазонии, либо потому, что местные жители сознательно отказывались от централизованного управления, — всё оказывается намного сложнее.

Хороший пример такой децентрализации — это полуостров Юкатан и высокогорные районы Гватемалы и Чиапаса к югу от него, где проживают носители различных майянских языков[612]. В период испанского вторжения регион был разделен на множество мелких княжеств, поселков, деревень и сезонных поселений. Покорение этого региона стало долгим и трудоемким предприятием. И не успело оно завершиться (или, по крайней мере, не успели испанцы решить, что оно завершено)[613], как новые власти столкнулись с бесконечной чередой народных восстаний.

Уже в 1546 году коалиция повстанцев майя восстала против испанских поселенцев. Несмотря на жестокие расправы, их выступление так и не удалось в полной мере подавить. В XVIII веке пророческие движения спровоцировали вторую волну крупных выступлений. В 1848 году восставшим практически удалось изгнать потомков поселенцев с Юкатана, но осада столицы испанцев, города Мерида, была прервана из-за начала посевного сезона.

Начавшаяся «Война каст» продолжалась многие десятилетия. Когда в 1910-е годы началась Мексиканская революция, мятежники всё еще продолжали оказывать сопротивление в отдельных частях Кинтана-Роо. Можно даже утверждать, что это восстание продолжается и по сей день в движении сапатистов, контролирующих значительную часть штата Чьяпас. Как мы видим на примере движения сапатистов, на территориях, где столетиями не было крупного государства или империи, в антиколониальной борьбе на первый план выходят женщины, организующие вооруженное сопротивление и защищающие традиции коренного населения.

Такая антиавторитарная направленность может удивить тех, для кого майя — это в первую очередь одна из трех великих цивилизаций Нового Света (наряду с ацтеками и инками), известная из книг по истории искусства. Большая часть произведений искусства, относящихся к так называемому классическому периоду майя (примерно 150–900 год н. э.) поражают своей красотой. В основном они были найдены в городах, располагавшихся на той территории, где сейчас растут тропические леса Петена. На первый взгляд кажется, что в этот период майя были разделены на царства вроде тех, что существовали в Андах или в Центральной Мексике, но только меньшего масштаба. Но важно учитывать, что вплоть до относительно недавнего времени наше представление о майя главным образом основывалось на скульптурных монументах и глифических надписях, созданных по заказу правящих элит[614]. Вполне предсказуемо, что основное внимание в них уделялось деяниям великих правителей (носивших титул ахав) и особенно их завоеваниям, в то время как союзы независимых городов боролись за гегемонию над равнинными территориями, где правили две конкурирующие династии: династия Тикаля и «цари-змеи» Калакмуля[615].

Эти памятники многое рассказывают о ритуалах, которые правители проводили для общения со своими обожествленными предками[616], но практически ничего о том, какой была обычная жизнь их подданных, не говоря уже о том, как эти подданные относились к притязаниям своих правителей на космическое могущество. Если в классический период возникали низовые движения, объединенные фигурой пророка, и вспыхивали народные восстания, как это происходило в колониальный период, то мы практически лишены возможности что-либо о них узнать, хотя археологические находки могут изменить ситуацию. Что мы знаем точно, так это то, что в последние века классического периода женщины обретают новую видимость в скульптуре и надписях — их изображают не только в роли супруг, принцесс и матерей, но и могущественными правительницами и посредницами для общения с духами. Мы также знаем, что в какой-то момент в IX веке политическая система классического периода распалась на части и большинство крупных городов было оставлено жителями.

Археологи спорят о том, что же именно произошло. Некоторые теории исходят из того, что народное сопротивление — сочетание дезертирства, массовых движений и прямого восстания — сыграло свою роль в крахе империи, в то время как большинство других по понятным причинам воздерживаются от уверенных заявлений о том, что здесь причина, а что следствие[617]. Примечательно, что среди немногочисленных городских обществ, выживших при развале империи, были обитатели северных низменностей вокруг города Чичен-Ица. Здесь царская власть, по-видимому, полностью изменилась, превратившись в исключительно церемониальное и даже театральное действо — правители были настолько

сильно ограждены всевозможными ритуалами, что не могли принимать никакого серьезного участия в политической жизни, — в то время как повседневное управление по большей части перешло в руки коалиции из выдающихся воинов и жрецов[618]. Более того, некоторые бывшие царские дворцы в «постклассический» период стали залами собраний (porolna), где собирались местные представители[619].

К моменту прибытия испанцев в Америку (что произошло через шестьсот лет после того, как опустели города Петена) общества майя были полностью децентрализованы. Люди жили в многочисленных городках и поселках, часто не имевших формальных правителей[620]. В книгах пророчеств «Чилам-Балам», созданных в XVI веке, речь то и дело заходит о бедствиях и несчастьях, выпадающих на долю деспотичных правителей. Иначе говоря, есть все основания полагать, что характерный для этого региона стойкий бунтарский дух восходит как минимум к временам Карла Великого (VIII век н. э.) и что местные жители столетиями регулярно избавлялись от слишком властных правителей.

Художественная традиция майя классического периода, несомненно, достойна восхищения и представляет собой одно из величайших достижений творческой мысли в истории человечества. На ее фоне произведения «постклассического» периода (примерно с 900 по 1520 год н. э.) выглядят довольно неуклюжими и блеклыми. С другой стороны, давайте спросим себя: захотели бы мы жить под произволом ограниченного военачальника, который, при всём своем покровительстве изящным искусствам, считает вырывание сердец из живых человеческих тел одним из своих самых значительных достижений? Конечно, об истории в таких категориях обычно не думают — и стоит задаться вопросом почему. Одна из причин состоит отчасти в самом термине «постклассический» — получается, что речь идет всего лишь о запоздалом послесловии к ушедшей великой эпохе. Наше замечание может показаться мелочным, но именно из-за таких мыслительных привычек периоды относительной свободы и равенства обычно уходят на второй план в более широком масштабе истории.

Поэтому мы считаем очень важным развить этот тезис дальше, прежде чем вернуться к трем формам господства.

**Раздел, в котором мы делаем  
небольшое отступление, чтобы  
поговорить о «Форме времени»[621], и  
в частности о том, как метафоры роста  
и упадка способствовали тому, что  
политические предубеждения**

# проникли незамеченными в наши ВЗГЛЯДЫ НА ИСТОРИЮ

Тексты историков и археологов изобилуют приставками «пост» и «прото», а также прилагательными «промежуточный» и даже «конечный». В каком-то смысле такое словоупотребление — это продукт теории культуры начала XX века. Альфред Кребер, выдающийся антрополог своего времени, посвятил несколько десятилетий исследовательскому проекту, цель которого заключалась в том, чтобы выяснить, действительно ли культуры расцветают и приходят в упадок в соответствии с определенными законами, которые могут быть выявлены учеными. Он пытался ответить на вопрос, существуют ли систематические взаимосвязи между модными тенденциями в искусстве, подъемами и спадами экономики, периодами интеллектуального творчества и консерватизма, а также расширением и распадом империй. Это был интригующий вопрос, но после долгих лет исследований антрополог пришел к выводу, что таких законов не существует. В книге «Конфигурации культурного роста» Кребер изучил взаимосвязи между искусством, философией, наукой и населением на протяжении всей истории человечества — и не смог выявить никаких устойчивых закономерностей; неудача постигла и тех немногих исследователей, что пошли по стопам Кребера[622].

Тем не менее мы обычно мыслим историю человечества так, как будто подобные закономерности существуют. Обычно о цивилизациях говорят либо как о растениях, которые растут, расцветают, а затем увядают, либо как об огромных конструкциях — их строительство требует громадных усилий, но их при этом может ожидать внезапный «крах». Как правило, такие понятия (крах, упадок, коллапс) используют без разбора, когда говорят об упадке цивилизации майя и подобных ситуациях (в случае с майя несколько сотен поселений внезапно опустели, а миллионы людей просто исчезли) и о «крушении» египетского Древнего царства, в то время как на самом деле рухнула там лишь власть египетских элит, правивших из города Мемфис на севере страны.

Но вернемся к майя. Период с 900 по 1520 год н. э. называют «постклассическим», подразумевая тем самым, что этот период ничем не примечателен, помимо угасающих традиций предшествовавшего золотого века. Аналогичным образом термины вроде «протодворцовый Крит», «додинастический Египет» или «формационный Перу» создают впечатление, будто минойцы, египтяне и народы Анд на протяжении веков только и занимались тем, что подготавливали почву для наступления золотого века и, само собой разумеется, появления в этом золотом веке сильной и устойчивой государственной власти[623]. Мы уже увидели, как эта схема работает применительно к Уруку: семисотлетний период коллективного самоуправления (который в ранней литературе называют «преддинастическим») историки рассматривают как всего лишь незначительный пролог к «настоящей» истории Месопотамии — истории завоевателей, законодателей, царей и династий.

Одним периодам отказывают в значимости, объявляя их предисловиями, другие называют послесловиями. Третьи же называют «промежуточными». Сейчас мы говорим о древних

Андах и Мезоамерике, но, пожалуй, самый известный и самый поразительный пример такого подхода — это снова история Египта. Постоянные посетители музеев должны быть хорошо знакомы с периодизацией истории Древнего Египта, включающей в себя Древнее, Среднее и Новое царства. Между ними находятся «промежуточные» периоды, которые часто описываются как эпохи «хаоса и культурной деградации». На самом деле в это время в Египте просто не было верховного единоличного правителя, а власть оказывалась в руках местных фракций или, как мы вскоре увидим, полностью изменяла свой характер. В совокупности эти промежуточные периоды составляют около трети истории Древнего Египта и заканчиваются в тот момент, когда власть оказывается в руках царей-чужеземцев и правителей-вассалов (этот период обычно называют поздним). Всё это время в Египте происходили важные политические события.

Вот лишь один пример такого события. Между 754 и 525 годом до н. э. (то есть в течение третьего промежуточного и позднего периода) пять незамужних бездетных принцесс ливийского и нубийского происхождения одна за другой стали «супругами бога Амона», что не только наделяло их высшей религиозной властью, но и придавало им большой экономический и политический вес. В официальных источниках этим женщинам давались особые «тронные имена», обрамлявшиеся, как и у правителей, картушами. Также в них описывается, как они возглавляют царские празднества и приносят подношения богам[624]. Кроме того, они владели одними из самых богатых и крупных поместий в Египте, где проживало множество жрецов и писцов. Ситуация, когда женщины не просто имеют большую власть, но и обладают ею в силу того, что занимают позицию, предназначенную исключительно для одиноких женщин, уникальна с исторической точки зрения. Но исследователи почти не говорят об этом политическом изобретении — отчасти из-за того, что оно относится к «промежуточному» и «позднему» периодам, сами названия которых уже указывают на их переходный или даже упаднический характер[625].

Вы, возможно, могли подумать, что деление на Древнее, Среднее и Новое царства само имеет древнюю историю и восходит к греческим источникам вроде «Египтики», составленной в III веке до н. э. египетским хроникером Манефоном, или даже к иероглифическим записям. Но это не так: трехчастная периодизация была предложена египтологами только в конце XIX века, и использовавшиеся ими термины (сначала «рейх» или «империя», а потом «царство») явно разрабатывались по лекалам европейских национальных государств. Немецкие, и в первую очередь прусские, исследователи сыграли в этих разработках ключевую роль. Тот факт, что они рассматривали историю Древнего Египта как чередование циклов интеграции и дезинтеграции, явно был связан с политической ситуацией в Германии, где авторитарное правительство пыталось создать единое национальное государство из бесчисленного множества крошечных государственных образований. После Первой мировой войны, когда эпоха старых европейских монархий подошла к концу, выдающиеся египтологи, среди которых был Адольф Эрман, начали выделять «промежуточные» периоды в истории Египта, сравнивая конец Древнего царства с большевистской революцией в России[626].

Оглядываясь назад, легко увидеть, что эти хронологии в значительной степени несут на себе отпечаток политических взглядов своих авторов. Возможно даже, что они отражают характерную для некоторых историков привычку ассоциировать себя с правящими классами

прошлого или людьми, выполнявшими в древних обществах функции, аналогичные их собственным, то есть представлять себя хранителями музеев, профессорами и чиновниками среднего звена в Древнем Египте или империи майя. Но вопрос скорее состоит в том, почему именно такие хронологии в итоге становятся каноническими?

Обратимся к периоду Среднего царства (2055–1650 год до н. э.), когда Египет, согласно стандартному общеизвестному историческому нарративу, вышел из состояния хаоса, в котором он якобы пребывал в первый промежуточный период, и в стране установилась сильная государственная власть, благодаря которой началось художественное и литературное возрождение[627]. Оставим в стороне вопрос о том, насколько хаотичным был «промежуточный период» на самом деле, — вскоре мы перейдем и к этой теме. Отметим пока лишь то, что период Среднего царства с таким же успехом можно было бы рассматривать как время ожесточенной борьбы за престол, непосильных налогов, организованной государством кампании против этнических меньшинств и увеличения масштабов принудительного труда, необходимого для финансирования царских горнодобывающих экспедиций и строительных проектов, не говоря уже о жестоких набегах египтян на своих южных соседей с целью захвата рабов и золота. Как бы египтологи ни восхищались этим периодом, создание утонченных литературных произведений (вроде «Сказания Синухе») и распространение культов Осириса, скорее всего, не принесли утешения тысячам призывников, подневольных работников и представителей преследуемых меньшинств, чьи бабушки и дедушки жили вполне себе мирной и счастливой жизнью в предшествующие «темные века» хаоса.

То, что верно для времени, верно и для пространства. Согласно традиционному нарративу, последние пять тысяч лет истории человечества (то есть примерно тот отрезок времени, вдоль которого мы будем перемещаться в этой главе) представляют собой что-то вроде шахматной партии, в которой роль фигур выполняли города, империи и царства. В то время как на самом деле на протяжении большей части этого периода иерархичные политические образования скорее были явлением исключительным. Их окружали обширные территории, на которых проживали «конфедерации племен» и «амфикинии» (как говорят историки), или «сегментарные общества» (как говорят антропологи){82}. Иначе говоря, речь идет об обществах, сознательно отказавшихся от фиксированных и всеобъемлющих систем власти. Мы немного знаем о том, как функционировали подобные общества в отдельных частях Африки, Северной Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии{83}, а также в некоторых других регионах, где такие свободные и гибкие политические объединения продолжали существовать вплоть до недавнего времени. Однако нам почти ничего не известно о том, как могли быть устроены такие гибкие объединения в глубокой древности, когда они на самом деле были самой распространенной формой правления в мире.

По-настоящему радикальным решением было бы попытаться заново рассказать историю человечества из перспективы таких промежуточных периодов и мест. В этом отношении данную главу нельзя назвать по-настоящему радикальной. По большей части мы рассказываем всё ту же самую старую историю, но пытаемся избавиться от последствий привычки к телеологическому мышлению, которая заставляет нас усердно искать в истории древнего мира зачатки современных национальных государств. Мы исходим из того, что изучение тех периодов и мест, с которыми принято связывать «рождение государства»,

позволит нам увидеть, как кристаллизовались различные виды власти, каждая из которых представляла собой уникальную смесь насилия, знания и харизмы — трех элементарных форм господства.

Чтобы проверить эффективность нового подхода, посмотрим, поможет ли он объяснить случаи, которые прежде казались аномальными. Речь идет о древних политиях, которые мобилизовывали и организовывали работу огромных масс людей, но при этом не подходят под стандартное определение государства. Таких примеров, безусловно, много. Давайте начнем с ольмеков, которых принято считать первой мезоамериканской цивилизацией.

## Политика как спорт: случай ольмеков

Вопрос о том, как точно описать ольмеков, оказался трудной задачей для археологов. Исследователи начала XX века называли их культуру художественным или культурным «горизонтом» в основном потому, что было неясно, как еще описать их стиль (легко узнаваемый по характерной керамике, антропоморфным фигуркам и каменным скульптурам). По всей видимости, этот стиль зародился в промежутке 1500–1000 годов до н. э. на огромной территории, включавшей в себя перешеек Теуантепек, земли современной Гватемалы, Гондураса и значительную часть Южной Мексики. Однако значение этого стиля оставалось неясным. Кем бы ни были ольмеки, они, казалось, представляли своего рода «материнскую культуру», из которой произошли все позднейшие мезоамериканские цивилизации, изобретшие характерные для этого региона календарные системы, глифическое письмо и даже игру в мяч[628].

В то же время не было никаких оснований предполагать, что ольмеки были монолитной этнической или политической группой. Было много спекуляций о странствующих миссионерах, торговых империях, элитных стилях моды и многом другом. В конце концов археологи пришли к пониманию того, что центр жизни ольмеков находился в заболоченных землях Веракруса, где вдоль побережья Мексиканского залива возникли города Сан-Лоренсо и Ла-Вента. Мы по-прежнему плохо представляем себе внутреннюю структуру этих ольмекских городов. Судя по всему, в центре многих из них находились церемониальные участки (нам неясна их планировка, но мы знаем, что на их территории были возведены крупные земляные курганы-пирамиды), окруженные обширными пригородами. Эти монументальные центры находились на довольно большом расстоянии, обрамленные небольшими разрозненными поселениями, жители которых занимались выращиванием маиса, и сезонными лагерями собирателей[629].

Что же мы в таком случае можем сказать о структуре ольмекского общества? Мы знаем, что ее ни в коем случае нельзя назвать эгалитарной, так как в ней были ярко выраженные группы элит. Пирамиды и другие монументы указывают на то, что по крайней мере в определенные времена года эти элиты имели в своем распоряжении огромное число работников, в том числе квалифицированных. Однако во всех остальных отношениях связи между центром и внутренними районами были на удивление слабыми. Например, упадок первого крупного ольмекского города в Сан-Лоренсо, похоже, не оказал особого влияния на экономику региона в целом[630].

Рассуждая о политическом устройстве ольмеков, нельзя не учитывать гигантские каменные скульптуры в виде голов, считающиеся одним из главных их достижений в сфере искусства. Эти скульптуры, вырезанные из кусков базальта весом в несколько тонн, сопоставимы с лучшими древнеегипетскими каменными памятниками. Должно быть, на изготовление каждой такой головы ушло неисчислимое количество часов работы каменщиков. По всей видимости, эти скульптуры являются изображениями ольмекских лидеров, но которые, что интересно, запечатлены в кожаных шлемах игроков в мяч. Все известные нам ольмекские головы довольно похожи между собой, отражая, видимо, некий стандартный идеал мужской красоты, и в то же время у всех скульптур есть свои особенности, так что мы вправе рассматривать их как изображения конкретных чемпионов[631].

Несомненно, у ольмеков также были свои стадионы для игры в мяч, хотя археологи всё никак не могут их поймать на своих радарх. Мы ничего не знаем о специфике ольмекской игры, но если она хотя бы немного походила на позднейшие игры у майя и ацтеков, то матчи должны были проходить на длинной и узкой площадке, где две команды, состоящие из представителей аристократических семей, боролись за славу и почет, нанося удары по тяжелому каучуковому мячу своими бедрами и ягодицами. Кажется логичным и разумным сделать вывод о том, что существует прямая связь между спортивными состязаниями и подъемом ольмекской аристократии[632]. Без письменных источников нам трудно сказать что-то более определенное, но если мы детально рассмотрим мезоамериканские игры в мяч более позднего периода, то хотя бы получим представление о том, как всё это работало на практике.

Каменные стадионы для игры в мяч наряду с царскими резиденциями и храмами-пирамидами являются характерными сооружениями для городов майя классического периода. Некоторые из стадионов выполняли исключительно церемониальную роль, в то время как другие действительно использовались для проведения спортивных состязаний. Главные божества майя сами были игроками в мяч. В эпосе майя-киче «Пополь-Вух» во время игры в мяч сталкиваются смертные герои и боги загробного мира, что приводит к рождению близнецов-героев Хун-Ахпу и Шбаланке, которые побеждают богов в их смертоносной игре и занимают место на небе среди звезд.

Тот факт, что центральный сюжет эпосов майя строится вокруг игры в мяч, свидетельствует о том, что этот спорт занимал важное место в майяских представлениях о харизме, власти и связях между ними. То же самое в более наглядной форме демонстрирует покрытая иероглифами стела в Яшчилане, построенная в честь вступления на престол, вероятно, самого знаменитого местного правителя, известного как Птица-Ягуар Великий. На центральной части стелы он изображен в облике игрока в мяч. Окруженный двумя слугами-карликами, царь готовится нанести удар по огромному каучуковому мячу со связанным, сломанным и скрученным телом пленника внутри, который катится вниз по лестнице. Одна из основных целей военных походов майя была в том, чтобы захватить в плен высокопоставленных противников и получить за них выкуп, а в случае неуплаты — убить пленников во время игры в мяч. Конкретно этим, высеченным в стеле несчастным мог быть какой-нибудь аристократ из враждебного города, драгоценный череп, чье унижение было настолько важно для Птицы-Ягуара, что он даже решил запечатлеть его на резной притолоке соседнего храма[633].

В некоторых частях Америки спортивные состязания заменяли собой войну. Для майя классического периода первое было продолжением второго. Сражения и игры составляли часть ежегодного цикла царских соревнований, в которых на кону была жизнь и смерть. В текстовых и вещественных памятниках эти события названы наиболее важными в жизни правителей. Вероятнее всего, эти элитные игры также были довольно массовыми зрелищами, которые формировали городскую публику особого рода — публику, которая следит за сражениями гладиаторов и потому воспринимает политику как форму противоборства. Столетия спустя испанские конкистадоры описали ацтекские игры в мяч, проходившие в Теночтитлане в окружении стен из человеческих черепов. Они рассказывают нам о бесшабашных простолюдинах, которые настолько увлекались противостоянием команд, что проигрывали всё, что у них было на ставках, иногда даже попадая из-за этого в рабство[634]. Ставки были столь высоки, что стоило игроку совершить чудо и послать мяч через одно из каменных колец, украшавших боковую часть площадки (эти кольца делали настолько маленькими, что попасть в них было практически невозможно; обычно победа в игре достигалась иным путем), и он получал всё поставленное на кон и вообще любое имущество зрителей, какое придется ему по душе[635].

Вполне понятно, почему ольмеков с их интенсивным синтезом политического состязания и организованного зрелища сейчас воспринимают как культурных предшественников более поздних мезоамериканских царств и империй. Однако сами ольмеки, по всей видимости, не располагали инфраструктурой, которая позволяла бы им управлять большим количеством людей. Насколько нам известно, у местных правителей не было стабильного военного или административного аппарата, используя который они могли бы распространить свою власть на обширные внутренние районы. Вместо этого они занимались культурной экспансией, важнейшую роль в которой играли церемониальные центры. И вполне возможно, что люди стекались туда только по определенным поводам (например, чтобы побывать на ритуальной игре в мяч) и в свободное от сельскохозяйственных работ время, а всё остальное время они пустовали.

Иными словами, если у ольмеков и было «государство», то его лучше было бы отнести к сезонной разновидности того, что Клиффорд Гирц однажды назвал «театральными государствами»{84}, где организованная власть существует лишь во время грандиозных, но мимолетных зрелищ. То, что мы могли бы назвать «государственным управлением» (от дипломатии до накопления ресурсов), необходимо для того, чтобы содействовать разыгрыванию ритуалов, а не наоборот[636].

## Чавин-де-Уантр: «империя» изображений?

В Южной Америке мы обнаруживаем примерно такую же ситуацию. Еще до появления Империи инков там существовали общества, которые исследователи предварительно отнесли к категориям «государств» и «империй». Все эти общества возникли в Перуанских Андах и на прилегающих к ним прибрежных дренажах — то есть на той территории, которая

впоследствии стала контролироваться инками. Ни у одного из этих обществ не было письменности — по крайней мере в той форме, которую мы могли бы распознать. Тем не менее начиная с 600 года н. э. многие из них начали использовать узелковые сплетения для ведения учета, а также, возможно, другие виды письменности.

В районе реки Супе уже в III тысячелетии до н. э. стали появляться монументальные центры[637]. Позднее, между 1000 и 200 годом до н. э., один из этих центров — Чавин-де-Уантар, расположенный на севере Перуанского нагорья, — распространил свое влияние на огромную территорию[638]. «Чавинский горизонт» уступил место трем различным региональным культурам. В центральной части нагорья возникла милитаризованная полития, известная как Уари. Параллельно на берегах озера Титикака появился мегаполис под названием Туанако, площадью 420 гектаров, что примерно в два раза больше площади Урука и Мохенджо-Даро. Местные жители использовали собственную систему поднятых полей, чтобы выращивать урожай на ледяных вершинах боливийского Альтиплано[639]. На северном побережье Перу мы встречаем третью культуру, известную как моче. Захоронения моче свидетельствуют о том, что женщины занимали в этой культуре ведущие позиции: исследователи обнаружили роскошные усыпальницы принцесс-воительниц и цариц, облитых золотом и окруженных останками человеческих жертв[640].

В конце XIX — начале XX века первые европейские исследователи этих цивилизаций предполагали, что все города (или группы городов), которые имели монументальное искусство и архитектуру и оказывали «влияние» на соседние районы, обязательно должны были быть столицами государств или империй. Кроме того, они предполагали (и как выяснилось, тоже неверно), что все их правители были мужчинами. Как и в случае ольмеков, инструментами влияния в основном были изображения — которые наносились на небольшие керамические сосуды, украшения и ткани, — а не административные, военные или торговые институты и связанные с ними технологии.

Рассмотрим пример города Чавин-де-Уантара, расположенного на возвышенности в долине Мосна в Перуанских Андах. Раньше археологи считали, что этот город был центром доинкской империи, существовавшей в I-м тысячелетии до н. э., — государства, которое контролировало внутренние районы, простиравшиеся от дождевых лесов Амазонии на востоке до тихоокеанского побережья на западе с всеми нагорьями и прибрежными дренажами, расположенными между ними. Внушительные каменные здания, огромное количество монументальных скульптур и тот факт, что по всему региону встречаются керамика, украшения и ткани с чавинскими мотивами, — всё это, казалось, должно свидетельствовать о всеохватном могуществе государства. Но действительно ли Чавин был «андским Римом»?

На самом деле с тех пор ученым не удалось найти практически никаких подтверждений этой гипотезе. Для того чтобы понять, что же на самом деле происходило в Чавине, нам следует более внимательно изучить эти изображения. Мы попытаемся выяснить, что они могут сообщить нам о роли зрения и знания в представлениях жителей Чавина о власти.

В чавинском искусстве нет картин и тем более графических историй — по крайней мере в привычном нам понимании. По всей видимости, не было в Чавине и пиктографической

системы письма. По этой причине мы можем с уверенностью утверждать, что Чавин не был империей. Империи обычно предпочитают монументальное и одновременно очень простое изобразительное искусство, чтобы смысл произведений был понятен всем, на кого они должны произвести впечатление. Если император персидской державы Ахеменидов повелевал вырезать его изображение на склоне горы, то это делалось таким образом, чтобы любой человек, будь то посол из неизвестных земель или ученый-антиквар из далекого будущего, мог без труда определить, что перед ним изображение великого правителя.

Чавинское искусство, напротив, не предназначалось для непосвященных. Хохлатые орлы сворачиваются клубком, исчезая в лабиринте орнамента; у людей изо рта торчат змеиные клыки, а их лица искривляются в кошачьих гримасах. Несомненно, есть множество изображений, которые мы попросту не в состоянии идентифицировать. Неподготовленному человеку требуется потратить некоторое время на изучение чавинских изображений, чтобы начать различать на них самые простые фигуры. При должном внимании он в конечном счете начнет вычленять повторяющиеся изображения ягуаров, змей, кайманов и других обитателей тропических лесов, но как только взгляд настраивается на них, они ускользают из поля зрения, вплетаясь в тела друг друга или сливаясь в сложные узоры[641].

Исследователи называют некоторых из этих существ «чудовищами», но они не имеют ничего общего с простыми составными фигурами на древнегреческих вазах, или с месопотамскими скульптурами (кентаврами, грифонами и так далее), или их аналогами в культуре моче. Это абсолютно иная визуальная вселенная: царство оборотней, где нет стабильных или законченных тел. Требуется интеллектуальная подготовка, чтобы начать различать отдельные изображения в этом визуальном хаосе. Мы можем говорить об этом с определенной степенью уверенности, так как чавинское искусство, по всей видимости, представляет собой раннее (и монументальное) проявление более широкой индейской художественной традиции, в которой изображения призваны не иллюстрировать и не репрезентировать, а служить визуальными подсказками, облегчающими процесс запоминания.

Многие индигенные общества вплоть до недавнего времени продолжали использовать похожие визуальные системы для передачи эзотерических знаний: ритуальных формул, генеалогических сведений и рассказов о путешествиях шаманов в мир хтонических духов и животных-фамильяров[642]. В Евразии аналогичные техники были разработаны в рамках древних «искусств памяти»{85}. Чтобы запомнить истории, речи, списки и тому подобную информацию, люди создавали свой «дворец памяти». Он представлял собой воображаемый путь или комнату, где можно было расположить серию ярких образов, каждый из которых давал бы подсказку, позволявшую вспомнить тот или иной эпизод, событие или имя. Можно только представить себе, что получилось бы, если бы какой-нибудь древний человек решил нарисовать или вырезать такой «дворец памяти», а спустя тысячи лет археологи или историки искусства обнаружили получившееся изображение и попытались интерпретировать его, не имея никакого представления о контексте его создания, а тем более о том, какую историю человек пытался запомнить с его помощью.

Мы можем с уверенностью говорить о том, что чавинские рисунки изображали путешествия шаманов. Об этом говорит не только характер изображений, но и множество косвенных

доказательств, указывающих на то, что местные жители практиковали измененные состояния сознания. В Чавине были обнаружены ложки для табака, небольшие декоративные ступы и костяные трубки. Среди резных изображений мы видим скульптуры клыкастых мужчин в головных уборах из змей, которые держат в руках стебель кактуса Сан-Педро. Это растение является ключевым компонентом хуачумы — настойки на основе мескалина, вызывающей галлюцинации. Хуачуму и по сей день производят в этом регионе. Другие резные фигуры — все, очевидно, мужского пола — окружены изображениями листьев вилки (*Anadenanthera* sp.), содержащих сильный галлюциноген. Листья вилки измельчают и нюхают. Они вызывают выделение слизи из носа, что достоверно изображено на скульптурных головах, украшающих стены главных храмов Чавина[643].

Ничто в монументальном ландшафте Чавина не указывает на существование светской власти. Там нет ни военных укреплений, ни административных кварталов. С другой стороны, почти все монументы связаны с исполнением ритуалов, а также раскрытием или сокрытием сакрального знания[644]. Именно об этом местные информанты сообщали испанским солдатам и хроникерам, оказавшимся в этих краях в XVII веке. Они отмечали, что Чавин с незапамятных времен был одновременно местом паломничества и источником смертельной опасности. Из разных частей страны туда съезжались главы могущественных семейств, чтобы увидеть видения и услышать предсказания оракулов — «речи камней». Археологи сначала относились к таким сообщениям со скепсисом, но со временем убедились в их правдивости[645].

Их убедили не только находки, свидетельствующие о проведении ритуалов и употреблении психотропных веществ, но и необычная архитектура города. Внутри чавинских храмов располагаются каменные лабиринты и подвесные лестницы, которые, судя по всему, предназначались не для коллективных богослужений, а для индивидуальных испытаний, инициаций и поисков видений. Люди совершали трудные путешествия по храмам, которые заканчивались в узких коридорах, где мог поместиться лишь один человек. За этими коридорами находились небольшие святилища с монолитами, густо покрытыми резными узорами. Самый известный из этих монументов, стела «Эль Ланцон» («копье»), представляет собой глыбу гранита высотой более 13 футов, вокруг которой был возведен «Старый храм» Чавина. Часто утверждают, что эта стела изображает бога, который по совместительству является *axis mundi*, то есть центральной осью, связывающей два противоположных конца шаманской вселенной. Копия этой стелы, расположенная на хорошо освещенной площадке в перуанском Музее нации, представляет гордость его коллекции. Однако оригинал стелы возрастом три тысячи лет по-прежнему находится в центре мрачного лабиринта, освещенного небольшими лампами, где ни один человек не может постичь всю полноту ее формы и содержания[646].

Если Чавин, далекий предшественник державы инков, и был «империей», то могущество этой империи основывалось на изображениях, связанных с эзотерическим знанием. С другой стороны, могущество «империи» ольмеков основывалось на зрелищах, соревнованиях и личных качествах политических лидеров. Очевидно, что в этом случае мы используем термин «империя» максимально свободно. Ни одна из этих «империй» даже отдаленно не напоминала империи инков и ацтеков, не говоря уже о Римской или Ханьской. Кроме того, рассмотренные «империи» не отвечают ни одному из критериев «государственности» — по

крайней мере, если говорить о тех критериях, что содержатся в стандартных социологических определениях государства (монополия на власть, существование различных уровней административной иерархии и так далее). Обычно такие режимы описывают как «сложные вождества», но этот термин кажется нам абсолютно неадекватным. Когда мы говорим «сложное вождество», то, по сути, заявляем: «Выглядит как государство, но государством не является». Это не говорит нам ровным счетом ничего.

Мы считаем, что куда полезнее было бы взглянуть на эти загадочные политии через призму обозначенных нами в начале этой главы трех элементарных принципов господства: контроля над насилием (суверенитета), контроля над знанием и харизматической политики. Это позволит нам увидеть, что каждый из этих принципов соответствует определенной форме господства, которая развивается и достигает чрезвычайно широкого охвата. Давайте попробуем.

Во-первых, очевидно, что в случае Чавина власть над многочисленным и рассредоточенным населением предполагала контроль над определенными видами знания. По своей форме это знание могло напоминать «гостайну» более поздних бюрократических режимов, но содержание было абсолютно иным. Кроме того, местные правители не могли рассчитывать на помощь военных в охране своих секретов. В ольмекской традиции борьба за власть проходила в виде формализованных состязаний за личное признание — игры, сопряженной с риском. Это отличный пример масштабной и конкурентной политической сферы, существовавшей тем не менее в отсутствие территориального суверенитета и административного аппарата. Несомненно, политический режим в Чавине предполагал личную харизму и дух соперничества, равно как и то, что некоторые ольмеки своим влиянием были обязаны владению магическим знанием. Но в обоих случаях мы не видим никаких признаков суверенной власти.

Мы назовем эти политии «режимами первого порядка», поскольку все они, похоже, были выстроены вокруг одной из трех элементарных форм господства (контроля над знанием в Чавине, харизматической политики у ольмеков) и не уделяли практически никакого внимания двум другим. Тут возникает очевидный вопрос: можем ли мы найти примеры третьего возможного варианта — такие общества, в которых был выработан принцип суверенитета (то есть отдельная личность или небольшая группа были наделены монопольным правом на безнаказанное применение насилия) и в которых он был доведен до крайности — но при этом без аппарата контроля над знанием и какой-либо конкурентной политической сферы. На самом деле таких примеров довольно много. Конечно, нам было бы трудно определить такой режим, опираясь исключительно на археологические находки. Однако мы можем обратиться к более близким нам по времени индейским обществам, оставившим после себя письменные источники, чтобы проиллюстрировать этот третий вариант.

Как всегда, мы должны осторожно подходить к подобным источникам, поскольку они были созданы европейскими наблюдателями, которые не только имели определенные предрассудки, но и, как правило, описывали местные общества в тот момент, когда те пребывали в состоянии хаоса и разрушения, связанного с прибытием европейцев. Тем не менее французские свидетельства о племени натчез Южной Луизианы в XVIII веке, похоже,

описывают именно такой тип социального устройства, который нас интересует. Исследователи единодушны в том, что натчез (называвшие себя Theꞑ oloëi, то есть «люди солнца») — это единственный неоспоримый пример существования «божественного царства» в регионе к северу от реки Рио-Гранде. Правитель натчез обладал абсолютной властью, которая удовлетворила бы даже Сапа Инку или египетского фараона. Но у натчез практически отсутствовала бюрократия и не было самостоятельной политической сферы. Насколько нам известно, никому не приходило в голову назвать этот политический режим «государством».

## О суверенитете без «государства»

Давайте обратимся к тексту французского отца-иезуита Матьюрена ле Пети, который в начале XVIII века составил описание натчез. Ле Пети обнаружил, что натчез совсем непохожи на тех людей, которых иезуиты встречали на территории современной Канады. Особенно его поразили их религиозные практики. Ключевую роль в них играло поселение, которое во всех французских источниках называется «Великой деревней», в центре которого находились две огромные земляные платформы, разделенные площадью. На одной платформе располагался храм, на другой — что-то вроде дворца, в котором жил правитель по имени Великое Солнце; достаточно большой, этот дворец мог вместить до четырех тысяч человек — примерно такой в это время была численность натчез.

Храм, в котором горел вечный огонь, был посвящен основателю царской династии. Натчез относились к своему правителю, а также к его брату (которого называли Татуированный Змей) и сестре (Белая Женщина) почти как к божествам. При встрече с правителем человек должен был поклониться, зарыдать и отойти прочь. Никому, даже жене царя, не позволялось разделить с ним трапезу, и только самые привилегированные придворные могли видеть, как он ест. На практике это приводило к тому, что члены царской семьи большую часть времени проводили в Великой деревне, изредка покидая ее<sup>[647]</sup>. Царь появлялся перед подданными в основном только во время важных ритуалов и войн.

Ле Пети и другие французские наблюдатели — подданные Людовика XIV, который тоже называл себя «король-солнце», — были поражены сходствами и потому подробно описывали происходящее в Великой деревне. Великое Солнце натчез мог уступать Людовику XIV в великолепии, но это, по всей видимости, компенсировалось огромной личной властью. Французские наблюдатели были особенно поражены произвольными казнями подданных натчез, конфискациями имущества и тем фактом, что во время царских похорон слуг двора душили, чтобы они могли сопровождать Великое Солнце и его ближайших родственников после смерти (по всей видимости, как правило, они добровольно соглашались на это). В основном в жертву приносили тех, кто при жизни непосредственно ухаживал за царем и удовлетворял его физические потребности, — в том числе царских жен, которые всегда были простолюдинками (общество натчез было матрилинейным, поэтому наследниками престола становились дети Белой Женщины). Многие из них, согласно сообщениям французов, шли на смерть добровольно и даже с радостью. Одна из жен рассказала, что всегда мечтала о том, как после смерти наконец сможет разделить трапезу со своим мужем.

Одним из парадоксальных следствий такой формы устройства было то, что большую часть года в Великой деревне практически никто не жил. Как отмечает другой наблюдатель, отец Пьер де Шарлевуа, «в Великой деревне натчез в настоящий момент осталось всего несколько хижин. Как я узнал, причина в том, что дикари, которые должны отдавать Великому Солнцу всё, что он пожелает, уходят от него как можно дальше; и потому многие деревни этой нации были построены на некотором расстоянии от него»[648].

Судя по всему, вдали от Великого Солнца обычные натчез вели совсем иную жизнь и часто беззаботно пренебрегали желаниями своего мнимого правителя. Они проворачивали свои независимые торговые и военные предприятия, а иногда и вовсе отказывались выполнять распоряжения эмиссаров или родственников Великого Солнца. Это подтверждают археологические раскопки в регионе Натчез Блаффс, показывающие, что в XVIII веке это «царство» состояло из полуавтономных районов, где были даже более крупные и богатые товарами поселения, чем Великая деревня[649].

Что всё это значит? Это может показаться парадоксальным, но в истории такие формы устройства встречаются не так уж редко. Великое Солнце был сувереном в классическом смысле этого слова, то есть воплощал собой принцип, стоящий выше закона. Следовательно, он не подчинялся никаким законам. Это очень распространенный тип космологического мышления, который в том или ином виде встречается по всему миру, от Болоньи до Мбанза-Конго. Боги (или бог) не ограничены никакими моральными принципами, поскольку только принцип, находящийся за пределами добра и зла, мог создать эти категории. Аналогичным образом к «божественным царям» неприменимы человеческие категории. Произвольно применяя насилие в отношении окружающих, они подтверждают свой трансцендентный статус. Но одновременно они воспринимались как создатели системы правосудия и исполнители этого самого правосудия. То же самое мы видим и у натчез. Считалось, что Великое Солнце происходит от ребенка Солнца, который прибыл на землю с универсальным сводом законов, важнейшими из которых были запреты на воровство и убийство. При этом Великое солнце сам всё время демонстративно нарушал эти законы, как бы доказывая, что он воплощает собой принцип, стоящий выше закона и, следовательно, способный создавать законы.

Проблема с этой разновидностью власти (по крайней мере, с точки зрения суверена) заключается в том, что она обычно носит сугубо личный характер. Ее почти невозможно делегировать. Суверенитет царя простирается настолько далеко, насколько он может добраться — на своих двоих или при помощи слуг. Внутри этого круга его власть абсолютна, но за его пределами она быстро ослабевает. Как следствие, в отсутствие административной системы (у царя натчез было всего несколько помощников) подданные могли попросту игнорировать его распоряжения, если сочтут их неуместными, отказываясь трудиться, платить дань и подчиняться. Даже «абсолютные» монархи эпохи Ренессанса вроде Генриха VIII или Людовика XIV сталкивались с серьезными трудностями, когда пытались делегировать свою власть — то есть когда пытались убедить своих подданных в том, что к представителям короля следует относиться с таким же уважением и послушанием, как и к самому королю. Даже если они создавали административный аппарат (а они, конечно, его создавали), то возникала дополнительная проблема: как заставить администраторов выполнять свои обязанности и как заставить остальных подданных сообщать королю о

невыполнении администраторами своих обязанностей. Как неоднократно отмечал Макс Вебер, в 1780-е годы прусский король Фридрих Великий обнаружил, что его постоянные попытки освободить крепостных ни к чему не приводят именно из-за того, что бюрократы попросту игнорируют его декреты. В тех же случаях, когда легаты указывали им на это, бюрократы настаивали на том, что слова указа должны быть истолкованы прямо противоположным образом[650].

В этом смысле французские наблюдатели не так уж сильно заблуждались: двор натчез действительно можно считать своего рода гиперболизированной версией французского Версаля. С одной стороны, власть Великого Солнца над теми, кто находился в непосредственной близости от него, была еще более абсолютной (Людовик не мог просто так взять и приказать казнить человека на месте). Но с другой, его возможности расширить свою власть были еще более ограниченны (у Людовика, по крайней мере, был административный аппарат, хоть и довольно скромный по меркам современных национальных государств). Фактически, суверенитет натчез был запечатан в капсуле. Существует даже предположение, что эта власть, и особенно ее благоприятный аспект, в какой-то степени зависела от того, что она была капсулирована. Согласно одному из очевидцев, основная ритуальная функция царя заключалась в том, чтобы просить благословения для своего народа (здоровья, плодородия, процветания) у первородного законодателя — существа, которое при жизни было настолько ужасным и разрушительным, что в конце концов оно согласилось на то, чтобы его превратили в каменную статую и спрятали в храме подальше от глаз людей[651]. Аналогичным образом способность царя выполнять роль сакральной фигуры и проводника благословения зависела от возможности сдерживать его разрушительную мощь.

Случай натчез необычайно ярко демонстрирует более общий принцип: сдерживание царей становится залогом их ритуальной власти. Суверенитет всегда представляет собой символический разрыв с моральным порядком; вот почему цари так часто бесчинствуют, чтобы самоутвердиться: убивают своих братьев, женятся на сестрах, оскверняют останки предков или, как в некоторых задокументированных случаях, просто стоят рядом с дворцом и стреляют по случайным прохожим[652]. При этом те же самые действия делают царя потенциальным законодателем и высшим судьей — по той же причине «верховные божества» в том виде, в каком их часто изображают в мифах и преданиях, одновременно метают молнии в случайных прохожих и выносят моральные суждения о человеческих поступках.

К сожалению, люди склонны видеть в произвольном насилии нечто божественное или как минимум отождествлять его с некоей трансцендентной силой. Конечно, мы не падаем на колени перед каждым грабителем или хулиганом, безнаказанно сеющим хаос (по крайней мере, если он не находится с нами в одной комнате). Однако если такой личности удастся добиться положения над законом (иначе говоря, стать священной или исключительной фигурой), то начинает действовать другой, по всей видимости, универсальный принцип: для того чтобы оградить эту личность от низостей повседневной человеческой жизни, его окружают запретами. Агрессоры обычно требуют знаков уважения, но эти знаки уважения, будучи доведены до космологического уровня («не прикасаться к земле», «не смотреть на солнце»), серьезно ограничивают свободу их действий, как насильственных, так и нет[653].

Такой была внутренняя динамика суверенитета на протяжении большей части истории человечества. Правители пытались добиться такой власти, которая позволяла бы им творить произвол по своему усмотрению. Подданные (если они только не выбирали вариант вовсе избегать правителя) окружали своих богоподобных царей бесконечным множеством ритуальных ограничений. Эти ограничения были настолько сложными, что правители в конечном счете оказывались заперты в своих дворцах или даже принимали ритуальную смерть, как происходило с «божественными царями»{86}, описанными Джеймсом Фрэзером в книге «Золотая ветвь».

Таким образом, мы увидели, что каждый из трех обозначенных нами принципов (насилия, знания и харизмы) в режимах первого порядка может стать основой для политических структур, которые в некоторых аспектах напоминают то, что мы называем государством, а в некоторых — нет. Ни одно из перечисленных обществ не было «эгалитарным» — все они были организованы вокруг четко обозначенной элиты. При этом мы не знаем, насколько сильно существование этих элит ограничивало те базовые свободы, о которых шла речь в предыдущих главах. Например, нет почти никаких свидетельств, которые указывали бы на то, что эти режимы пытались ограничить свободу передвижения своих подданных. Судя по всему, натчез практически беспрепятственно могли убраться подальше от своего Великого солнца, что они обычно и делали. Мы также не видим свидетельств того, что за пределами непосредственной зоны досягаемости суверена (которая была очень ограниченной) кто-то отдавал и выполнял распоряжения.

Еще один хороший пример суверенитета без государства — это нилотский народ шиллук, который проживает в Южном Судане среди нуэров. Напомним, что в начале XX века нуэры были пастушеским обществом, которое в антропологической литературе часто называют «эгалитарным» (хотя на самом деле это не совсем так) из-за того крайнего отвращения, которое они испытывали к любой ситуации отдачи и выполнения приказов{87}. Шиллук говорят на западном нилотском языке, близком к языку нуэров. Большинство исследователей считают, что в прошлом они были одним народом. Если земли нуэров лучше всего подходили для выпаса скота, то шиллук обитали на плодородных берегах Белого Нила, где они могли выращивать дурру, местную зерновую культуру, и обеспечивать продовольствием многочисленное население. Однако у шиллук, в отличие от нуэров, был царь, которого называли рет. Подобно Великому Солнцу натчез, его тоже можно назвать воплощением суверенитета.

И Великое Солнце натчез, и шиллукский рет могли совершенно безнаказанно творить что угодно, но только в зоне непосредственной досягаемости. Обычно они жили в изолированной столице, где регулярно проводили ритуалы, призванные обеспечить плодородие и благополучие народа. Как сообщал в начале XX века один итальянский миссионер:

“ Рет живет уединенно, как правило с несколькими женами, в небольшой, но знаменитой деревне Пакода (известной как Фашода), что расположена на холме... Его персона священна, и обычным людям очень трудно к нему приблизиться, а высшему классу для этого требуется соблюдать сложные

правила этикета. Изредка он появляется среди народа — например, во время путешествий. Его появление внушает людям страх, и большинство в такие моменты прячутся и стараются держаться подальше от царя; в особенности это касается девушек[654].

Последнее, по-видимому, связано с тем, что девушки боялись, что их схватят и отправят в царский гарем. При этом у царских жен были свои преимущества, поскольку именно коллегия царских жен фактически замещала отсутствующую административную систему, поддерживая связи между Фашодой и родными деревнями жен. Коллегия обладала значительной властью, и если женам удавалось прийти к консенсусу, то они могли даже приказывать казнить царя. У рета также были свои приспешники — зачастую сироты, преступники, беглецы и другие неприкаянные личности, которых он притягивал к себе. Если царь выступал посредником при урегулировании местного спора, а одна из сторон отказывалась выполнять его требования, то он мог объединиться с другой стороной, совершить набег на непокорную деревню и забрать с собой столько голов скота и ценных вещей, сколько могли увести и унести его люди. Таким образом, царские сокровища состояли почти исключительно из того, что было награблено в результате набегов на чужеземцев или собственных подданных.

Может показаться, что всё это не очень похоже на свободное общество, но в повседневных вопросах шиллук, по всей видимости, были столь же независимы, как и нуэры. И подобно нуэрам, они очень не любили выполнять чьи-то распоряжения. Даже представители «высшего класса» (в основном потомки предыдущих правителей) могли рассчитывать лишь на незначительные знаки почтения и уж точно не на повиновение. Об этом хорошо сказано в одной старой шиллукской легенде:

“ Жил когда-то жестокий царь, который убил множество своих подданных, в том числе и женщин. Подданные очень боялись его. Однажды, чтобы показать, что подданные настолько испуганы, что выполнят любой его приказ, царь собрал вождей шиллук и приказал им замуровать его в доме вместе с молодой девушкой. Потом он приказал выпустить его наружу. Они не сделали этого. Так он и умер[655].

Если доверять устным преданиям, то можно сказать, что шиллук предпочли эпизодическое присутствие самовольного и иногда жестокого суверена более мягкой, но одновременно более систематизированной форме правления. Если же кто-то из ретов пытался создать административный аппарат (пускай даже всего лишь для сбора дани с побежденных народов), то он наталкивался на сопротивление подданных и в результате либо отказывался от своего замысла, либо же терял власть[656].

В отличие от шиллукского рета, чавинские и ольмекские элиты могли мобилизовать огромное количество работников, но совершенно неясно, задействовали ли они для этого вертикаль власти. Как мы увидели на примере Древней Месопотамии, период отработки барщины (трудовой повинности) мог быть временем праздника, общественного энтузиазма и даже разрушения иерархий. (И как мы увидим на примере Древнего Египта, даже самые

авторитарные режимы часто стремились поддерживать этот вольный дух.) Наконец, нам следует выяснить, какое влияние режимы первого порядка оказали на нашу третью базовую форму свободы: свободу менять и пересматривать социальные отношения, как на сезонной, так и на постоянной основе. Конечно, ответить на этот вопрос труднее всего. Несомненно, в большинстве этих новых форм власти присутствовал ярко выраженный сезонный элемент. В определенные времена года весь социальный аппарат власти просто исчезал — точно так же, как было в обществе строителей Стоунхенджа. Сложнее всего понять, каким образом возникли эти новые институциональные механизмы и материальная инфраструктура, которые их поддерживали.

Кто спроектировал храм с лабиринтами в Чавин-де-Уантр и царский комплекс в Ла-Венте? Если их возведение было коллективным замыслом (что вполне возможно)[657], то такие грандиозные проекты можно считать экстраординарными проявлениями человеческой свободы. Ни один из перечисленных режимов первого порядка не был государством в зачаточном состоянии, и мало кому придет в голову утверждать обратное. Поэтому давайте поговорим о Древнем Египте — одной из немногих политий древности, которую практически все исследователи считают государством и которая во многих отношениях стала парадигмой для всех последующих государств в истории человечества.

## Как работа по уходу, ритуальные убийства и «крошечные пузырьки» создали Древний Египет

Не будь у нас письменных источников, а только археологические данные, смогли бы мы установить, что у натчез были такие фигуры, как Великое Солнце? Вероятнее всего, нет. Конечно, мы бы знали, что в Великой деревне есть несколько довольно больших курганов, относящихся к разным периодам. Мы бы обнаружили ямы на этих курганах и сделали вывод, что раньше тут располагались некие массивные деревянные сооружения. Очаги, свалки отходов и разрозненные артефакты на тех участках земли, где раньше располагались эти сооружения, дали бы нам некоторое представление о том, что там происходило[658]. Вероятно, единственным убедительным доказательством существования царской власти были бы захоронения богато украшенных тел, окруженных останками принесенных в жертву слуг, — если, конечно, археологам удалось бы их обнаружить[659].

Образ мертвого монарха, отправляющегося в загробный мир в окружении тел слуг, может напомнить некоторым читателям о древних фараонах. Действительно, именно так хоронили некоторых из древнейших известных нам правителей Египта Первой династии, которая правила около 3000 года до н. э. (правда, тогда их еще не называли «фараонами»)[660]. Но так делали не только в Египте. Захоронения царей, окруженных десятками, сотнями, а в некоторых случаях даже тысячами тел людей, принесенных в жертву по случаю похорон, можно обнаружить практически в любой части света, где возникает монархическая форма правления: от древнего династического города-государства Ур в Месопотамии до политики

Керма в Нубии и Шан в Китае. Существуют также достоверные письменные описания подобных захоронений в Корее, Тибете, Японии и степях на территории России. По всей видимости, такие же захоронения присутствуют у обществ мочы и вари в Южной Америке, а также в городе Кахокия на берегу Миссисипи[661].

Нам стоит уделить особое внимание этим массовым убийствам, поскольку сейчас большинство археологов считают их одним из наиболее надежных признаков начала процесса «формирования государства». Во всех случаях мы видим на удивление схожую картину. Практически везде массовые убийства приходились на первые несколько поколений после основания новой империи или царства; часто им подражали соперники из других элитных семейных кланов. Потом эта практика постепенно сходилась на нет, иногда сохраняясь в гораздо более умеренной форме. (В качестве примера можно привести ритуал сати, существовавший во многих частях Южной Азии: вдовы кшатриев (каста воинов) совершали самоубийство после смерти своего мужа.) Изначально практика таких ритуальных убийств имела зрелищный характер. Смерть правителя как будто означала короткий момент, когда суверенитет освобождается от своих ритуальных оков, запуская политическую сверхновую, которая уничтожает всё на своем пути, включая самых высокопоставленных и могущественных людей в королевстве.

В такие моменты в жертву часто приносили близких родственников правителя, высокопоставленных военачальников и чиновников. Конечно, если у нас есть только захоронение, но нет письменных источников, то зачастую бывает сложно определить, чьи останки перед нами — царских жен, визирей и придворных музыкантов или же военнопленных, рабов, случайных простолюдинов, схваченных по дороге (как известно, такое иногда происходило в Буганде и Бенине), или даже целых воинских подразделений (как было в Китае). Более того, возможно, что люди, обозначенные как цари и царицы на царском кладбище Ура, на самом деле были не правителями, а просто несчастными жертвами, которые заменяли собой реальных правителей, или же высокопоставленными жрецами и жрицами, одетыми в царские одежды[662].

Иногда ритуальные убийства были всего лишь кровавой разновидностью костюмированной драмы, но так, очевидно, было не всегда. Так что вопрос остается открытым: почему в древних царствах проводились подобные ритуалы? И почему правители отказывались от них после того, как их власть становилась более устойчивой?

В городе Аньянь, столице государства Шан, расположенной в центральной части Китайской равнины, правители обычно отправлялись на тот свет в сопровождении нескольких важных слуг, которые добровольно (хоть и не всегда с радостью) следовали за своим правителем и были погребены с почестями. Но они составляли лишь небольшую часть из тех, кого хоронили вместе с правителем: он имел право окружить свое захоронение человеческими жертвоприношениями[663]. Видимо, часто это были представители конкурирующих династий, захваченные в плен во время войны. Их тела, в отличие от тел царских приближенных, обязательно калечили — обычно им отрубали и переставляли головы.

По всей видимости, Шан таким образом стремились лишить своих жертв возможности войти в число предков династии, а живых членов их рода — возможности ухаживать за своими

мертвыми родственниками и кормить их, что обычно было одной из главных функций семьи. Выжившие члены династии, брошенные на произвол судьбы и травмированные в социальном отношении, чаще всего попадали под власть шанского двора. Фактически правитель Шан становился великим предком благодаря тому, что полностью лишал своих конкурентов возможности иметь наследников[664].

Стоит учитывать этот момент, рассматривая пример Египта, где в эпоху Первой династии дело на первый взгляд обстояло прямо противоположным образом. Действительно, первые египетские цари и как минимум одна царица были похоронены в окружении принесенных в жертву людей. Однако похоже, что почти все жертвы принадлежали ко внутренним кругам египетских правителей. Об этом свидетельствуют погребальные камеры, расположенные неподалеку от древнего города Абидос в низменной пустыне Южного Египта. Возраст этих камер, разграбленных в древности, составляет пять тысяч лет. В них покоятся правители Первой египетской династии[665]. Рядом с каждой царской гробницей располагаются сотни других захоронений, образующие своего рода периметр. «Приближенных» — в том числе царских слуг и придворных, убитых в самом расцвете сил, — хоронили в кирпичных камерах меньшего размера, каждая из которых имела надгробие с указанием официальных титулов покойного[666]. По всей видимости, среди похороненных там людей нет ни одного пленника или представителя враждебной династии. Получается, что после смерти царя следующий правитель умерщвлял всех придворных своего предшественника или по крайней мере значительную их часть.

Почему в период зарождения египетского государства проводились ритуальные убийства?

Какую роль на самом деле выполняли «вспомогательные» захоронения? Можно ли сказать, что они были призваны защитить мертвого царя от живых или живых от мертвого царя? Почему среди принесенных в жертву людей много тех, кто всю свою жизнь заботился о царе: жен, охранников, чиновников, поваров, конюхов, артистов, придворных карликов и других слуг, чьи могилы сгруппированы вокруг царской гробницы в соответствии с ролью и родом занятия покойных? Тут мы сталкиваемся с парадоксом. С одной стороны, судя по всему, этот ритуал представлял собой высшее проявление любви и преданности к правителю. Люди, которые на ежедневной основе делали царя похожим на царя — кормили, одевали, стригли волосы, ухаживали во время болезни, составляли компанию, когда он был одинок, — добровольно шли на смерть, чтобы царь и в загробном мире продолжал быть царем. В то же время эти захоронения наглядно показывают, что даже к самым близким своим подданным царь мог относиться как к личной собственности и спокойно избавляться от них так же, как избавляются от лишних одеял, игровых досок или кувшинов с полбой. Многие исследователи пытаются понять природу этого феномена. Скорее всего, многие из тех, кто приносил себя в жертву пять тысяч лет назад, тоже размышляли на эту тему.

Письменные источники того периода мало что сообщают нам о том, какими соображениями руководствовались египетские правители. Однако имеющиеся в нашем распоряжении находки (в основном это списки с перечислением имен и титулов) свидетельствуют о крайне смешанном составе царских кладбищ. На них хоронили как кровных родственников первых царей и цариц (в частности, женщин из царской семьи), так и многих из тех, кто вошел в царский круг благодаря своим необычным умениям и личным качествам. Эти люди,

следовательно, были членами расширенной царской семьи. Похоже, что насилие и кровопролитие, сопровождавшие массовые погребальные ритуалы, в некоторой степени были призваны нивелировать эти различия, сделать всех усопших единым целым, превратив слуг в царских родственников, а царских родственников — в слуг. В более поздние времена близкие родственники правителя представляли себя именно таким образом, помещая в его гробницу скромные копии самих себя, занятых ручным трудом, например помолом зерна или приготовлением пищи[667].

Расширение суверенитета и его превращение в общий организующий принцип общества происходит путем трансформации насилия в родственные отношения. И в Китае, и в Египте массовые ритуальные убийства, какую бы функцию они ни выполняли, заложили основу того, что Макс Вебер назвал «патримониальной системой». Речь идет о системе, в которой все подданные правителя воспринимаются как члены королевской семьи — по крайней мере в том смысле, что все они должны заботиться о правителе. Превращение чужаков в членов королевской семьи или лишение их своих собственных предков в таком случае две стороны одной медали[668]. Иными словами, ритуал, создающий родственные связи (kinship), становится способом создания царской власти (kingship).

Во времена Второй египетской династии крайние формы ритуальных убийств вокруг царских захоронений резко сошли на нет. Однако патримониальная политика продолжила расширяться — речь шла не столько о расширении территорий Египта, который ранее установил свои границы в результате нападений на Нубию и других соседей[669], сколько об изменении жизни подданных. Спустя несколько поколений долина и дельта Нила были разделены на царские владения, каждое из которых обслуживало похоронный культ того или иного бывшего правителя. Вскоре после этого для возведения пирамид на плато Гиза были созданы целые «рабочие города». На этих стройках отработывали барщину люди со всего Египта[670].

Разумеется, никто не станет отрицать, что к тому времени, когда начинается возведение Великих пирамид в Гизе, в Египте в том или ином виде уже существовало государство. Однако помимо всего прочего, пирамиды — это еще и гробницы. Кажется, в Египте процесс «формирования государства» был запущен принципом индивидуального суверенитета (в духе натчез или шиллук), который вырвался из ритуальной клетки посредством смерти суверена. В результате смерть правителя стала основой для масштабной реорганизации жизни людей, проживавших вдоль всего течения Нила. Чтобы понять, как это могло произойти, нам необходимо изучить, как жил Египет задолго до появления гробниц царей Первой династии в Абидосе.

Прежде чем мы поговорим о том, что происходило на протяжении столетий, непосредственно предшествующих воцарению Первой династии Египта (в так называемый додинастический и протодинастический период, примерно с 4000 по 3100 год до н. э.), стоит еще сильнее углубиться в историю этого региона.

Вспомним, что в Африке, в том числе в долине Нила (на территории современного Египта и Судана), неолит принял иную форму, нежели на Ближнем Востоке. В 5-м тысячелетии до н. э. местные жители в основном занимались не выращиванием зерновых, а скотоводством,

также используя широкий спектр диких и культивируемых источников пищи, типичных для того периода. Возможно, среди более близких к нам по времени народов неолитические африканцы ближе всего к нилотским народам — нуэрам, динка, шиллук, ануак и другим, которые выращивают зерновые, но считают себя скотоводами и каждый сезон перемещаются между временными лагерями. Конечно, сравнивать их можно только с большой натяжкой. Очень широко обобщая: если в ближневосточном неолите (Плодородный полумесяц) центральное внимание уделялось домам (что отражается в декоративном искусстве, а также в заботе и внимании к жилищам), то в Африке такого же внимания удостоивались тела. С древнейших времен там появляются захоронения с искусно выполненными предметами личной гигиены и сложными наборами украшений для тела[671].

Неслучайно много веков спустя, когда воцарилась Первая династия Египта, одними из первых предметов, на которых появились царские надписи, стали «гребень из слоновой кости царя Джета» и знаменитая «палетка царя Нармера» (египетские мужчины и женщины использовали каменные палетки, чтобы измельчать и смешивать косметику). По сути, они представляли собой более эффектные разновидности тех предметов, при помощи которых обитатели Нила эпохи неолита наводили красоту за тысячу лет до воцарения Первой династии Египта. Они также, что неудивительно, преподносили их в дар умершим родственникам. В неолитический и додинастический период такие предметы были широко доступны женщинам, мужчинам и детям. На самом деле, с тех самых древних времен в нилотском обществе человеческое тело стало восприниматься как своего рода монумент. Эксперименты с техниками мумификации проводились задолго до воцарения первой династии. Уже в неолитический период египтяне начали смешивать ароматические и консервирующие масла, чтобы подарить телу вечную жизнь, а места захоронения стали выполнять роль ориентиров на постоянно меняющемся социальном ландшафте[672].

Как произошел переход от такого невероятно подвижного социального устройства к Первой династии спустя две тысячи лет? Территориальные царства не появляются из ниоткуда[673]. Вплоть до относительно недавнего времени у нас были лишь отрывочные сведения о том, что происходило в Египте до воцарения Нармера в 3100 году до н. э. — то есть в течение так называемого додинастического и протодинастического периода, примерно соответствующих 4-му тысячелетию до н. э. В такой ситуации велик соблазн искать аналогии в более близких к нашему времени эпохах. Как мы увидели на примере нилотских народов (в первую очередь шиллук), сравнительно мобильные общества, которые высоко ценят индивидуальную свободу, могут тем не менее отдавать предпочтение власти самовольного деспота (от которого всегда можно избавиться) перед систематическими и всеохватными формами правления. Особенно часто это происходит в обществах, которые, подобно многим народам, чьи предки выстраивали свою жизнь вокруг домашнего скота, тяготеют к патриархальным формам организации[674]. Можно предположить, что в доисторический период долина Нила контролировалась несколькими ретами, напоминая правителей шиллук. У каждого из них было свое поселение, которое по сути представляло собой расширенную патриархальную семью. Правители препирались и враждовали друг с другом, но в остальном их образ жизни несильно отличался от образа жизни тех, кем они формально правили.

Тем не менее ничто не может заменить археологические данные, объем которых в последние годы стремительно увеличивается. Новые находки демонстрируют, что не позднее чем в 3500 году до н. э. (за пятьсот лет до появления Первой династии) в различных частях долины Нила и в Нубии стали появляться захоронения мелких царьков. Мы не знаем их имен, поскольку письменность в тот момент находилась в зачаточном состоянии. По всей видимости, они в большинстве своем правили очень небольшими царствами. Центры крупнейших из известных нам царств находились в Накаде и Абидосе недалеко от того места, где Нил делает большую излучину в Верхнем Египте, в Иераконполе, расположенном южнее, и в поселении Кустал в Нижней Нубии. Похоже, однако, что даже правители этих царств контролировали не очень обширные территории[675].

Таким образом, появлению Первой династии предшествовало не столько отсутствие суверенитета, сколько его переизбыток: бесчисленное множество мелких царств и миниатюрных царских дворов, ядро которых неизменно составляли кровные родственники правителя и пестрая толпа его приспешников, жен, слуг и прихлебателей разных мастей. Некоторые из этих дворов были по-своему великолепны. Они оставили после себя большие гробницы и останки царских приближенных, принесенных в жертву. Больше всего впечатляет двор Иераконполя, где жил карлик (похоже, карлики очень рано стали неотъемлемой частью придворного общества) и множество девочек-подростков, а также было нечто напоминающее частный зоопарк: множество экзотических животных, включая двух бабуинов и африканского слона[676]. Эти цари всячески демонстрировали грандиозный, абсолютный и космологический характер своих притязаний, но они, судя по всему, не имели административного и военного контроля над своими территориями.

Каким образом произошел переход от этой формы правления к огромному аграрному бюрократическому аппарату, который возник в Египте в династический период? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо изучить изменения, которые параллельно происходили в Египте, начиная примерно с середины 4-го тысячелетия до н. э. В этом случае нам также помогут археологические находки. Можно утверждать, что в это время в Египте развернулась дискуссия об ответственности живых перед мертвыми. Нужно ли заботиться о мертвых царях так же, как и о живых? Должна ли эта забота отличаться от той, что полагается обычным предкам? Испытывают ли предки чувство голода? И если да, то чем их кормить? В силу тех или иных причин около 3500 года до н. э. в долине Нила получила распространение идея о том, что предки всё-таки испытывают голод, утолить который можно лишь экзотической и даже роскошной по тем временам пищей: хлебом на закваске и ферментированным пшеничным пивом. После этого пивные горшки стали стандартными элементами богатых погребальных комплексов. Неслучайно именно в этот период были усовершенствованы технологии выращивания пшеницы и увеличилось ее производство, которым с давних времен занимались в долине и дельте Нила. По крайней мере отчасти это было ответом на новые потребности мертвых[677].

Два этих процесса — агрономический и церемониальный — взаимно усиливали друг друга и оказывали колоссальное воздействие на жизнь общества. Впервые в истории человечества сформировалась отдельная группа людей, которую мы можем назвать крестьянством. В долине Нила, как и во многих других частях света, где предпочитали селиться неолитические народы, разливы реки поначалу затрудняли установление постоянных

границ между земельными участками. Вполне возможно, что в итоге установлению этих границ способствовали не экологические условия, а необходимость производить хлеб и пиво для церемоний. Для этого требовалось не только иметь доступ к достаточному количеству пахотных земель, но и обладать всем тем, что необходимо для обслуживания плугов и ухода за волами, — их использование в сельском хозяйстве стало еще одним нововведением конца 4-го тысячелетия до н. э. Семьи, которые не обладали необходимыми ресурсами, были вынуждены добывать хлеб и пиво в других местах, в результате чего возникли сети обязательств и долговых отношений. Начали формироваться классовые различия и стали возникать зависимые группы населения[678], так как значительная часть египтян оказалась лишена возможности самостоятельно заботиться о своих предках.

Если такая картина кажется вам нереалистичной, то для сравнения можно взглянуть на то, что происходило в Перу после того, как Инка расширил свой суверенитет. Там традиционный диверсифицированный и гибкий режим питания, центральное место в котором занимали блюда из сублимированного картофеля (чуно), тоже контрастирует с появившимся позднее продуктом нового типа — пивом из маиса (чича), которое считалось напитком богов и постепенно стало напитком империи[679]. К началу испанского завоевания маис превратился в важнейший ритуальный продукт как для богатых, так и для бедных. Маисом питались боги, мумии царей и солдаты; тем, кто был слишком беден, чтобы вырастить маис (или жил в высокогорном районе Альтиплано), приходилось искать иные способы обзавестись этим продуктом, из-за чего многие люди становились должниками царской семьи[680].

В случае Перу у нас есть испанские хроники, которые помогают понять, как алкогольный напиток со временем стал источником жизненной силы империи. К сожалению, мы можем лишь догадываться, что именно происходило в Египте пять тысяч лет назад. Однако благодаря археологам мы располагаем некоторыми сведениями об этом периоде и можем начать собирать общую картину из разрозненных фрагментов. Самые древние из обнаруженных останков оборудования, которые использовались одновременно для выпечки хлеба и приготовления пива, относятся примерно к 3500 году до н. э. Сначала они появляются на кладбищах, а несколько столетий спустя — рядом с дворцами и монументальными усыпальницами[681]. Изображение с гробницы чиновника по имени Тай, относящейся к более позднему периоду, демонстрирует, как именно работало это оборудование: выпечка хлеба в горшках и приготовление пива были частью единого процесса. Постепенное расширение полномочий царей и охвата административной системы началось примерно в то же время, когда воцарилась Первая династия Египта, или незадолго до этого. Тогда были созданы поместья, призванные обеспечивать продовольствием не столько живых, сколько мертвых царей, а также покойных царских чиновников. Ко времени возведения пирамид (около 2500 года до н. э.) хлеб и пиво производились в промышленных масштабах. Это было необходимо для того, чтобы прокормить армии сезонных рабочих, трудившихся на царских стройках. Их тоже рассматривали как «родственников» царя или, по крайней мере, относили к категории тех, кто заботился о нем. Благодаря этому строители могли — хотя бы временно — рассчитывать на хорошее питание и уход.

Рабочий городок в Гизе произвел несколько тысяч керамических форм. Они использовались для формовки больших буханок хлеба, называвшегося беджа. Строители в группах ели этот

хлеб с большим количеством мяса (его источником были животные из царских загонов), запивая всё это пивом со специями[682]. Последнее обстоятельство особенно способствовало сплочению бригад сезонных рабочих в период Древнего царства. На это недвусмысленно указывают надписи на оборотных сторонах каменных блоков, которые использовались для возведения пирамид. На одном из них написано «друзья [царя] Микерина», а на другом — «пьянчуги Микерина». По всей видимости, эти бригады сезонных работников (или филы, как называют их египтологи) состояли исключительно из мужчин, прошедших особые ритуалы инициации по достижении определенного возраста, а моделью для этих бригад служила организация экипажа судна[683]. Мы не знаем, участвовали ли такие ритуальные братства в плаваниях, но можно заметить сходства между командными навыками, требующимися для управления кораблем, и теми, что необходимы для перемещения многотонных блоков известняка и гранита при строительстве царских пирамид-храмов и других подобных монументальных сооружений[684].

Можно вспомнить, что методы поддержания дисциплины, которые внедрялись во время промышленной революции и превращали команду людей в слаженно работающую машину, пришли в заводские цеха с флота. Действительно ли экипажи египетских кораблей послужили моделью для первой в истории человечества производственной линии, поделившей большую задачу на множество простых механических действий (один режет, другой тащит, третий поднимает, четвертый шлифует), благодаря которой стало возможным возведение огромных монументальных сооружений, гораздо более внушительных, чем всё, что было создано человеком до этого? Для того чтобы возвести пирамиды, египетским царям потребовалось создать из своих подданных огромные социальные машины, которые затем отмечали свое объединение массовой попойкой[685].

Мы только что в общих чертах описали процесс образования первого, как принято считать, государства в истории человечества. Теперь мы можем попробовать сделать обобщение. Быть может, это и есть государство: невероятная жестокость в сочетании со сложной социальной машинерией, и всё это якобы предназначено для проявления заботы и преданности.

Здесь есть очевидный парадокс. Труд по уходу в некотором смысле представляет собой полную противоположность механическому труду: для того чтобы обеспечить всем необходимым того, за кем вы ухаживаете (будь то ребенок, взрослый человек, животное или растение), необходимо признавать и понимать его индивидуальные качества, потребности и особенности[686]. Работа по уходу требует индивидуализированного подхода. Если у тех институтов, которые мы сегодня называем «государствами», и есть что-то общее, так это тенденция направлять импульс заботы на абстрактные категории — сегодня это обычно «нация», как бы широко или узко она ни определялась. Возможно, именно по этой причине мы так охотно видим в Древнем Египте прототип современного государства: египтяне тоже посвящали себя служению великим абстракциям, в их случае — покойному правителю и представителям элиты. Именно благодаря этому египетское общество могло одновременно восприниматься как семья и как машина, все детали которой (за исключением, конечно, царя) в конечном счете являются взаимозаменяемыми. Начиная с сезонных работ по возведению усыпальниц и заканчивая ежедневной заботой о теле правителя (вспомним, что первые царские надписи были обнаружены на гребнях и палетках для макияжа), египтяне в

основном либо ухаживали за правителями (живыми и мертвыми), либо помогали тем выполнять их собственные обязанности — обеспечивать богов пищей и ухаживать за ними[687]. Вся эта деятельность как бы создавала нисходящий поток божественного благословения и защиты, который иногда принимал материальную форму в великих праздниках рабочих городков.

Проблема возникает в тот момент, когда мы пытаемся применить эту парадигму к другим случаям. Как мы отмечали, есть некоторые интересные параллели между процессами, происходившими в Египте и Перу (эти параллели тем более примечательны с учетом того, что топография регионов сильно отличается: в одном случае это равнины и удобный для судоходства Нил, а в другом — «вертикальные архипелаги» Анд). Эти параллели проявляются в жутких деталях вроде практик мумификации мертвых правителей и того факта, что даже после смерти мумифицированные правители продолжали оставаться владельцами сельских поместий, в то время как живые правители воспринимались как боги, которым следовало периодически осматривать свои владения. Оба общества испытывали определенную антипатию к городской жизни. В обоих случаях столица была, по сути, церемониальным центром — той сценой, на которой царь демонстрировал свое величие. На постоянной основе в столице жило довольно мало людей, а правящие элиты предпочитали думать, что их подданные обитают в царстве пасторальных поместий и охотничьих угодий[688]. Но всё это лишь подчеркивает то, насколько Египет и Перу отличаются от других «ранних государств», как их обычно называют исследователи.

## Раздел, в котором мы размышляем о различиях так называемых ранних государств от Китая до Мезоамерики

Примеры египетского царства и Империи инков демонстрируют нам, что может произойти, если принцип суверенитета будет дополнен бюрократической машиной и равномерно распространен по всей территории страны. Поэтому, когда говорят об образовании государств в древний период, то часто вспоминают именно про эти царства, даже несмотря на то, что они существовали в разные эпохи и в разных концах света. Из всех остальных классических «ранних государств» практически ни одно не пошло по пути Египта и Империи инков.

Например, в Месопотамии в раннединастический период существовали десятки городов-государств разного размера, каждым из которых правил свой собственный харизматический царь-воитель, чьи выдающиеся индивидуальные качества, как считалось, были признаны богами, наградившими его мужеством и прекрасным телом. Эти цари постоянно боролись друг с другом за господство в регионе. Лишь изредка некоторым из них удавалось добиться превосходства над конкурентами и создать нечто, напоминающее объединенное царство или империю в зачаточной форме. Неясно, претендовал ли кто-то из первых месопотамских правителей на «суверенитет» — по крайней мере, в абсолютном смысле этого слова,

который предполагает, что правитель не подчиняется никаким моральным нормам и, следовательно, может безнаказанно творить всё что угодно и создавать новые формы социального устройства. Города, которыми они якобы правили, имели многовековую историю: это были торговые центры с сильными традициями самоуправления, своими собственными городскими божествами, стоявшими во главе местных систем храмового управления. В таком случае цари обычно называли себя не богами, а наместниками богов, иногда — их героическими земными защитниками. Короче говоря, они изображали себя представителями суверена, проживающего на небесах[689]. В результате возникало динамическое напряжение между двумя принципами, которые, как мы увидели, изначально находились в противостоянии друг к другу: административным устройством речных долин и героической индивидуалистической политикой окружающих их высокогорий. В последнем случае боги были единственными носителями суверенитета[690].

В низменностях майя дело обстояло иначе. Правитель майя классического периода (ахав) был охотником, воплощением божества первого ранга и воином, чье тело во время битвы и танцевального ритуала становилось пристанищем для духа предка-героя, божества или чудовища. По сути, ахавы — это мелкие и постоянно враждующие между собой божества. Классические майя переносили принципы бюрократии в область божественного. Исследователи практически в один голос говорят о том, что правители майя классического периода не имели сложного административного аппарата, но представляли космос как своего рода административную иерархию, подчиненную прогнозируемым законам[691], — это была сложная машина, состоящая из небесных и подземных рычагов и колесиков, благодаря которой можно было установить точные даты рождения и смерти главных божеств на тысячи лет в прошлое (например, божество Муваан-Мат появилось на свет 7 декабря 3121 года до н. э., то есть, согласно представлениям майя, за семь лет до создания нашей вселенной). При этом правителям майя никогда не приходило в голову фиксировать численность и уровень благосостояния своих подданных, не говоря уже о том, чтобы записывать их даты рождения[692].

Есть ли у этих «ранних государств» хоть какие-то общие черты? Очевидно, можно сделать некоторые обобщения. Во всех изученных обществах зрелищное насилие было превращено в фундамент социальной организации. Все эти общества опирались на патриархальные домохозяйства и в некоторой степени воспроизводили их форму организации. Во всех случаях аппарат управления основывался на классовом делении общества в том или ином виде. Но как мы увидели в предыдущих главах, все эти элементы вполне могли существовать без центрального аппарата управления или до него — и после того, как он возникал, они могли принимать самые разные формы. Например, в городах Месопотамии принадлежность к тому или иному классу зависела от владения землей и наличия торгового капитала. Храмы одновременно выполняли роль городских банков и фабрик. Божества покидали территорию храма только по случаю праздников, но священники вращались в более широких кругах, давая торговцам займы под процент, контролируя работу женщин-ткачих и ревностно оберегая свои поля и стада. В городах Месопотамии существовали влиятельные купеческие сообщества. О подобных явлениях в низменностях майя мы знаем гораздо меньше, но имеющиеся данные указывают на то, что власть там зависела не столько от контроля над землей и торговлей, сколько от способности контролировать потоки людей и обеспечивать лояльность населения при помощи межродовых браков и

личных связей, возникающих между повелителем и дворянами, занимающими более низкое положение в иерархии. Именно по этой причине в политической жизни майя классического периода такое важное место занимала практика захвата в плен высокопоставленных противников, которые использовались в качестве «человеческого капитала» (подобные случаи практически не упоминаются в месопотамских источниках)[693].

Если мы посмотрим на Китай, то получим еще более сложную картину. В поздний период правления династии Шан, с 1200 до 1000 года до н. э., китайское общество в некоторых отношениях походило на классическое «раннее государство». Однако если рассматривать китайское общество как единое целое, то нужно признать, что оно представляло собой абсолютно уникальное явление. Город Аньян, столица государства Шан, как и инкский город Куско, был разделен на «четыре квартала» и служил космологической основой для всего царства и гигантской сценой для царских ритуалов. Подобно Куско и египетскому Мемфису (а впоследствии и Фивам), Аньян находился между миром живых и миром мертвых: наряду с царскими кладбищами и прилегающими к ним храмами-усыпальницами там также располагалась действующая администрация. В промышленных районах изготавливалось огромное количество бронзовых сосудов и изделий из нефрита, которые использовались для общения с мертвыми[694]. Но в большинстве важных аспектов у государства Шан было мало общего как с Древним царством Египта, так и с империей инков в Перу. Начнем с того, что правители династии Шан не претендовали на суверенитет над обширной территорией. Они могли безопасно перемещаться и отдавать распоряжения только на узком участке своих владений в среднем и нижнем течении реки Хуанхэ, неподалеку от своей резиденции[695]. Но похоже, что даже на этих территориях правители династии Шан не претендовали на суверенитет в том же смысле, что египетские, перуанские и майяские цари. Самым ярким подтверждением этого факта является исключительная важность гадания в раннем китайском государстве, что разительно отличается от практически всех других примеров, которые мы рассматривали[696].

По сути, любое решение царя — будь то решение о начале войны, заключении союза, основании новых городов или даже по таким тривиальным вопросам, как расширение охотничьих угодий, — необходимо было согласовывать с высшими властями, то есть с богами и духами предков. Более того, в каждом конкретном случае не было никакой уверенности, что высшие власти одобряют решение царя. Чтобы обратиться к богам, шанские прорицатели сжигали подношения. Делалось это следующим образом: во время ритуальной трапезы с богами и духами предков цари или прорицатели клали в огонь черепаший панцири и бычьи лопатки, а затем «читали» образовавшиеся на них трещины как своего рода предсказания оракула. Эта процедура была довольно сильно бюрократизирована. После того как ответ был получен, прорицатель или писец должен был авторизовать информацию, нанеся гравюру с надписью на кость или раковину. Полученное предсказание отправлялось на хранение, чтобы к нему можно было впоследствии обратиться[697]. Эти предсказания — самые древние из известных нам китайских надписей. Вполне возможно, что в доисторические времена местные жители делали повседневные записи на недолговечных материалах, которые не дошли до нас. Тем не менее до сих пор не обнаружены свидетельства других форм административной деятельности или архивов, которые стали столь типичными для более поздних китайских династий, равно как и вообще какие-либо признаки развитого бюрократического аппарата[698].

Как и цари майя, правители династии Шан регулярно развязывали войны, чтобы добыть пленников для человеческих жертвоприношений. У династий, конкурировавших с Шан, были свои предки, жертвоприношения и прорицатели. По всей видимости, они признавали верховенство Шан (особенности в области ритуалов), но это не мешало им воевать с Шан в случае, если на то были достаточные, по их мнению, основания. Это соперничество объясняет, почему правители Шан удостаивались столь роскошных похорон и уродовали тела пленников. В каком-то смысле они всё еще играли в агонистические игры, типичные для «героических обществ», и соревновались со своими конкурентами, чтобы затмить и унизить их. Соперничество порождало нестабильность, и в конечном счете Западная Чжоу, одна из конкурирующих династий, сумела сокрушить Шан и присвоить себе небесный мандат[699].

\* \* \*

Теперь нашим читателям должно быть ясно, что во всех рассмотренных случаях нельзя говорить о «рождении государства», понимаемом как появление первых зачатков абсолютно нового института, который впоследствии вырос и эволюционировал до современных форм государства. Вместо этого речь идет о возникновении широких региональных систем управления. Просто так вышло, что в Египте и Андах вся региональная система оказалась объединена (по крайней мере, на некоторое время) под властью централизованного государственного аппарата. Такая форма устройства на самом деле была довольно необычной для своего времени. Более распространенным был тот вариант, что мы видели в Китае эпохи правления династии Шан, где императорские владения были объединены по большей части лишь в теории; или в Месопотамии, где региональная гегемония редко длилась больше одного-двух поколений; или у майя, где шла затяжная борьба между двумя силовыми блоками, ни один из которых не мог добиться окончательной победы[700].

Если рассуждать в категориях нашей теории, согласно которой три элементарные формы господства (контроль над насилием, контроль над знанием и харизматическая власть) могут кристаллизоваться в одну из трех соответствующих институциональных форм (суверенитет, административный аппарат и героическая политика), то почти все перечисленные «ранние государства» могут быть отнесены к режимам господства «второго порядка». Режимы первого порядка (ольмеки, чавин и натчез) развивали только один из элементов триады. Но в режимах второго порядка, обычно более активно применяющих насилие, два из трех принципов господства оказались объединены беспрецедентным и очень впечатляющим образом. Сочетание принципов могло меняться от случая к случаю. Древние правители Египта совмещали суверенитет с административным аппаратом, месопотамские цари — административный аппарат с героической политикой, а ахавы майя классического периода — героическую политику с суверенитетом.

Необходимо подчеркнуть: мы не утверждаем, что в каждом из перечисленных случаев обязательно отсутствовал один из трех принципов в своей элементарной форме. Похоже, дело обстояло таким образом, что два из них образовывали институциональные формы —

смешивались и усиливали друг друга, выступая основой государственного аппарата, — в то время как третья форма господства в значительной степени вытеснялась из сферы дел человеческих и перемещалась в сферу божественного (пример тому — божественный суверенитет в раннединастической Месопотамии или космическая бюрократия майя классического периода). Принимая всё это во внимание, давайте ненадолго вернемся к Египту, чтобы прояснить некоторые моменты.

## Раздел, в котором мы снова говорим о Египте и рассматриваем этот пример через призму трех элементарных принципов господства, возвращаясь к проблеме «темных веков»

Египетские архитекторы периода Древнего царства явно воспринимали создаваемый ими мир как нечто вроде искусственной жемчужины, выращенной в благородной изоляции. Об этом наглядно свидетельствуют резные рисунки по камню на стенах царских храмов, посвященных погребальным культам Джосера, Микерина, Снофру, Сахура и других египетских правителей. Египет (сами египтяне называли его «две земли») всегда изображается в них одновременно как небесное государство-театр, где цари и боги существуют на равных, и как земное царство — мир сельских поместий и охотничьих угодий, размеченных на карте подчинения, где каждый участок земли персонифицирован в фигуре придворной дамы, делающей подношения царю. Такое представление о Египте основано на идее абсолютного суверенитета монарха, которую символизируют гигантские погребальные монументы — дерзкое заявление, что для фараона нет ничего непобедимого, даже смерти.

Однако египетское царство было двуликим Янусом. Его внутренний облик — это образ верховного патриарха, который стоит на страже своей обширной семьи — «великого дома» (таково буквальное значение слова «фараон»). Его внешний облик мы видим на рисунках, где царь изображается как военачальник или ведущий охотник, устанавливающий контроль над дикими окраинами страны. Добычей царя становилось всё, чего он только мог пожелать[701]. Однако насилие фараона — это вовсе не героическое насилие, а в некотором смысле даже его полная противоположность. При героическом порядке воинская честь основывается на том, что воин может потерпеть поражение. Репутация значит для него так много, что он готов рисковать жизнью, достоинством и свободой ради того, чтобы защитить ее. Египетские правители этого периода никогда не изображали себя героическими фигурами в этом смысле слова. Они в принципе не могли потерпеть поражение. Как следствие, для египтян войны не были «политическими» состязаниями потенциально равных соперников. Сражаясь и преследуя добычу, царь утверждал свое право

собственности бесконечными репетициями того самого суверенитета, который он осуществлял над своим народом и которым он обладал в силу своего родства с богами.

Как мы уже отмечали, суверенитет, который является одновременно столь же абсолютным и столь же персонифицированным, как суверенитет фараона, крайне трудно делегировать. В этом случае все чиновники также должны быть продолжением личности царя. Крупные землевладельцы, военачальники, жрецы, администраторы и другие важные правительственные чиновники носили титулы вроде «хранитель царских секретов», «лучший друг царя», «организатор музыкальных выступлений для фараона», «надзиратель дворцовых маникюрщиц» или даже «завтрак царя». Мы не утверждаем, что в Египте в этот период отсутствовала борьба за власть. Безусловно, царский двор невозможен без конкуренции, хитрых уловок, двурушничества и политических интриг. Но дело в том, что эти состязания были непубличными. В Египте не существовало санкционированного пространства для открытого соревнования, и всё ограничивалось царским двором. Об этом наглядно свидетельствуют «надгробные биографии» чиновников Древнего царства, которые, описывая свои прижизненные достижения, говорят почти исключительно о том, как складывались их отношения с царем и как они заботились о нем, а не о своих личных качествах и победах[702].

Похоже, что в Египте мы наблюдаем гипертрофию суверенитета и административного аппарата при почти полном отсутствии соревновательной политики. Публичные состязания (как политические, так и не политические) практически не проводились. В официальных источниках, относящихся к периоду египетского Древнего царства и к более поздним периодам истории Древнего Египта, мы не находим упоминания состязаний, которые хотя бы отдаленно напоминали бы гонки на колесницах у римлян или игру в мяч у ольмеков и сапотеков. Царский юбилей или праздник хеб-сед, когда египетские цари объезжали город в честь объединения земель Верхнего и Нижнего Египта, по сути, представлял собой сольное выступление царя, исход которого ни у кого не вызывал сомнений. Если в позднейшей египетской литературе и говорится о политической конкуренции (а такие примеры иногда встречаются), то речь идет о соревнованиях между богами — например, как в «Противостоянии Гора и Сета». Мертвые цари, возможно, соревнуются друг с другом, но к тому моменту, когда суверенитет переходит в область смертных, всё предрешено.

Необходимо подчеркнуть, что когда мы говорим об отсутствии в Египте харизматической политики, то имеем в виду, что там не было своей «звездной системы» или «зала славы» и институционализированного соперничества между воинами, военачальниками, политиками и так далее. Мы, конечно же, не утверждаем, что в Египте не было ярких и харизматических фигур. Дело в том, что в чистой монархии есть только один по-настоящему важный человек, в лучшем случае — несколько таких людей. Более того, если мы пытаемся объяснить привлекательность монархии как формы правления (а нельзя отрицать, что на протяжении большей части истории человечества она была крайне популярна), то она, вероятно, связана со способностью монарха вызывать у подданных непреодолимый ужас перед своим повелителем и одновременно желание заботиться о нем. Царь — это одновременно и абсолютная личность, чьим капризам и причудам потакают так, словно это избалованный ребенок, и абсолютная абстракция, поскольку возможность массированно применять насилие и осуществлять контроль над массовым производством (как это было в Египте)

превращает всех подданных царя во взаимозаменяемые винтики.

Стоит также заметить, что монархия — это, вероятно, единственная известная нам форма правления, ключевую роль в которой играют дети, так как власть династии зависит от способности монарха к продолжению рода. Поклонение мертвым встречается во всех режимах (даже США, позиционирующие себя как оплот демократии, создают храмы, посвященные отцам-основателям, и вырезают портреты мертвых президентов на склонах гор), но младенцы, эти чистые объекты любви и заботы, приобретают политическое значение только в царствах и империях.

Древнеегипетский режим часто называют первым настоящим государством в истории человечества и используют его как парадигму для изучения всех последующих государств. В основном это связано с тем, что в Древнем Египте удалось синтезировать абсолютный суверенитет (способность монарха стоять в стороне от человеческого общества и безнаказанно применять насилие по своему усмотрению) с административным аппаратом, который, по крайней мере в определенные моменты, мог превратить любого египетского подданного в винтик огромной машины. В Египте отсутствовала лишь соревновательная героическая политика, вытесненная в миры богов и мертвых. Однако политические состязания возвращались в жизнь египетского общества в так называемые темные века, когда центральная власть переставала существовать. Начало «темным векам» было положено Первым промежуточным периодом (около 2181–2055 годов до н. э.).

Уже к концу периода Древнего царства номархи (наместники фараона) фактически начали создавать собственные династии[703]. Когда в результате раскола царства образовалось два центра в Гераклеополе и Фивах, местные лидеры взяли на себя большую часть тех функций, что прежде выполняла центральная власть. Номархи, которых часто называли «военачальниками», на самом деле не имели ничего общего с мелкими царьками додинастического периода. По крайней мере, на монументах, которые возводились при их правлении, они больше напоминают народных героев и даже святых. Это не всегда было пустым бахвальством: некоторые номархи действительно почитались как святые на протяжении многих веков. Несомненно, в Египте всегда были харизматические местные лидеры. Однако после краха патримониального государства подобные личности получили возможность открыто претендовать на власть, опираясь на свои личные достижения и качества (смелость, щедрость, навыки оратора и стратега). Что важно, они также смогли предложить новое определение социальной власти, основанной на служении обществу, почтительному отношении к городским божествам и народной поддержке, которую номарх получал благодаря своим личным качествам.

Иначе говоря, как только государственный суверенитет разваливался, на сцену возвращалась героическая политика с тщеславными и состязательными харизматиками — вроде тех, что известны нам из древнего эпоса, но куда менее кровожадными. Это изменение четко прослеживается в автобиографических надписях — вроде тех, что были обнаружены в гробнице номарха Анхтифи, высеченной в скале в Эль Моалла к югу от Фив. Вот как он рассказывает о своем участии в войне: «Я был тем, кому удалось найти решение в тот момент, когда оно так требовалось, и всё благодаря моим смелым планам; тем, кто отдавал приказы и сохранял спокойный ум в тот день, когда номы [административные

единицы] объединились (для ведения войны). Я герой, которому нет равных; я свободно говорил в тот день, когда страх объял весь Верхний Египет». Еще более поразительно то, как он превозносит свои достижения в социальной сфере:

“ Я давал хлеб голодным и одежду нагим; я мазал елеем тех, кто его не имел; я давал сандалии босоногим; я давал жену тому, кто не имел жены. Я заботился о городах Хефат [Эль Моалла] и Хор-мер каждый раз, [когда] небо заволакивало, а земля [пересыхала, и когда все люди умирали] от голода на этой песчаной отмели Апофиса. Юг пришел со своими людьми, а север — со своими детьми; они принесли лучшее масло, чтобы обменять его на ячмень... Все в Верхнем Египте умирали от голода, и люди поедали своих детей, но я не позволил никому умереть от голода в своем номе... я не позволил ни одному нуждающемуся покинуть мой ном и перейти в другой. Я герой, которому нет равных[704].

Только в Первый промежуточный период наследственная аристократия вступает в свои права в Египте. Местные магнаты вроде Анхтифи начинают передавать свою власть потомству и расширенным семьям. Аристократии и харизматической политике не было места в Древнем царстве именно потому, что они вступали в конфликт с принципом суверенитета. Подводя итог, заметим, что переход от Древнего царства к Первому промежуточному периоду представлял собой не столько переход от «порядка» к «хаосу» (как некогда считали египтологи), сколько поворот от «суверенитета» к «харизматической политике» — то есть к форме власти, основанной на другом базовом элементе. Вместе с этим изменилась и роль заботы: теперь не народ заботился о богоподобных правителях, а забота о народе стала легитимным путем к получению власти. В Древнем Египте, как это часто происходит в истории, значительные политические достижения выпали именно на те периоды («темные века»), которые исследователи привыкли игнорировать по той простой причине, что в это время никто не заботился о постройке монументальных сооружений из камня.

## Раздел, в котором мы отправляемся на поиски настоящих истоков бюрократии и обнаруживаем, что начиналось всё очень скромно

Должно быть, теперь читателям стало понятно, почему Древний Египет так часто приводят в качестве хрестоматийного примера, когда речь заходит о процессе формирования государства. Дело не только в том, что это самый древний пример того, что мы назвали режимом господства второго порядка. За исключением Империи инков, возникшей в более поздний период, это также единственный пример древнего общества, где мы видим

сочетание двух принципов: суверенитета и администрации. Иначе говоря, это единственное древнее общество, развитие которого соответствует общепринятой теории формирования государства. В основе этой модели лежат предпосылки, которые восходят к определенному виду социальной теории (возможно, правильнее было бы называть ее теорией организации), которую мы описали в начале восьмой главы. Эта теория утверждает, что небольшие родственные группы могут решать возникающие проблемы неформальным эгалитарным способом, но когда большие группы людей формируют вместе города или царства, то всё меняется.

Согласно этой теории, как только численность населения увеличивается, возникает потребность, говоря словами Робина Данбара, в «вождях, которые будут заниматься управлением, и полицейских силах, которые будут контролировать соблюдение социальных правил». Или, как сказал Джаред Даймонд, «большие группы людей не могут функционировать без лидеров, принимающих решения; исполнительной власти, выполняющей принятые решения; и бюрократии, следящей за исполнением решений и законов»[705]. Иными словами, если вы хотите жить в большом обществе, то вам нужен суверен и административный аппарат. Принято считать, что для этого необходима монополия на использование силы принуждения (то есть возможность безнаказанно угрожать людям оружием). Кроме того, почти все согласны с тем, что письменность была создана именно для обслуживания интересов безличных бюрократических государств, появление которых и стало результатом описанного выше процесса.

Как мы увидели, эти предположения ошибочны, а основанные на них прогнозы практически всегда оказываются неверными. Показательный пример можно найти в восьмой главе. Раньше считалось, что раз бюрократические государства обычно появляются на территориях со сложными ирригационными системами, то их возникновение должно быть связано с потребностью в управленцах, которые бы координировали обслуживание каналов и регулировали водоснабжение. Однако оказалось, что земледельцы и сами отлично справляются с управлением сложными ирригационными системами. В большинстве известных нам случаев нет практически никаких свидетельств, указывающих на то, что первые бюрократы имели какое-либо отношение к управлению ирригационными сооружениями. Жители первых городов имели поразительную способность к самоуправлению, которое, как правило, хоть и не было вполне «эгалитарным», было гораздо более партиципаторным, чем практически любые современные практики городского управления. Как выяснилось, древние императоры по большей части предпочитали не вмешиваться в городские дела, так как их не особо интересовало, как их подданные убирают улицы или обслуживают дренажные каналы.

Мы также отметили, что в тех случаях, когда древние режимы основывали свое господство на эксклюзивном доступе к определенным формам знания, речь обычно шла не о тех формах знания, которые мы сочли бы ценными с практической точки зрения (один из примеров тому — это психоделические откровения шаманов, которыми, похоже, вдохновлялись строители Чавин-де-Уантр). По всей видимости, древнейшие формы управления (ведение архивов, бухгалтерских книг и досье, практики учета, контроля и аудита) развивались именно в ритуальных контекстах: в месопотамских храмах, в рамках египетских культов предков, китайской практики чтения предсказаний оракула и так

далее[706]. Поэтому мы можем с достаточной степенью уверенности сказать, что появление бюрократии не стало следствием попыток решить практические проблемы управления информацией в человеческих обществах, которые достигли определенного масштаба и уровня сложности.

Однако здесь возникает интересный вопрос: где и когда подобные технологии возникли и что стало причиной их появления? На этот счет у нас тоже имеются любопытные новые данные. Исследования археологов показывают, что первые системы специализированного административного контроля возникли в очень небольших сообществах. Самыми древними находками, которые наиболее явно указывают на существование подобных систем, являются остатки нескольких небольших доисторических поселений на Ближнем Востоке, которые возникли спустя более чем тысячу лет после основания неолитического Чатал-Хююка (около 7400 года до н. э.), но более чем за две тысячи лет до появления первых поселений, отдаленно напоминающих города.

Самый наглядный пример — это поселение Телль Саби Абьяд, обнаруженное группой голландских археологов, работавших в долине Белих в сирийской провинции Ракка. Примерно восемь тысяч лет назад (около 6200 года до н. э.) деревня площадью один гектар, которая располагалась на территории доисторической Месопотамии, была уничтожена пожаром. Огонь обжег глиняные стены поселения и множество глиняных домов, благодаря чему они дошли до наших дней. Конечно, жителям не очень повезло, но для будущих исследователей это оказалось большой удачей, поскольку они получили уникальную возможность изучить устройство поселения периода позднего неолита, где проживало около ста пятидесяти человек[707]. Археологи обнаружили, что в деревне были централизованные хранилища ресурсов, в том числе амбары и склады. Кроме того, местные жители разработали относительно сложные административные инструменты для учета этих ресурсов. Они в том числе создали экономические архивы, которые предвосхитили появление более крупных храмовых архивов Урука и других месопотамских городов позднейшего периода.

В этих архивах не хранилась письменная документация: первые примеры письменности встречаются только три тысячи лет спустя. Зато в них были обнаружены геометрические жетоны из глины, которые использовались во многих неолитических деревнях — вероятнее всего, для подсчета ресурсов[708]. В Телль Саби Абьяд наряду с жетонами также применялись миниатюрные печати с гравюрами, при помощи которых наносились опознавательные знаки на глиняные пробки сосудов, которые использовались в хозяйстве[709]. Примечательнее всего то, что после извлечения крышек из сосудов их для последующего использования отправляли на хранение в архив, расположенный в специальном здании (своего рода офисе или бюро) рядом с центром деревни[710]. Об этих открытиях стало известно в 1990-е годы, после чего археологи начали спорить о том, в чьих интересах и с какой целью действовала эта «деревенская бюрократия».

Когда мы пытаемся ответить на этот вопрос, важно иметь в виду, что в Телль Сади Абьяд, помимо центрального бюро и склада, не было обнаружено ничего, что указывало бы на наличие в местном обществе ярко выраженных лидеров: ни крупных жилых зданий, ни богатых захоронений. Остатки поселения свидетельствуют о его удивительном

однообразии. Все жилые дома примерно одинакового размера, строились из материалов примерно одинакового качества, да и внутреннее их убранство было почти идентичным. Судя по всему, в них жили небольшие семьи, которые придерживались сложной системы разделения труда. Среди домашних дел были такие, что требовали совместных усилий нескольких домохозяйств. Необходимо было пасти скот, сеять зерно, собирать урожай, обмалывать несколько разновидностей зерновых культур и лен для ткачества. Местные жители занимались ткачеством наряду с некоторыми другими домашними ремеслами: гончарным делом, бисероплетением, резьбой по камню и простыми формами металлообработки. И, конечно же, нужно было растить детей и заботиться о стариках, строить и ремонтировать дома, организовывать свадьбы и похороны и так далее.

Для того чтобы успешно справляться с годовым циклом работ, требовалось тщательное планирование и взаимопомощь. Кроме того, как свидетельствуют остатки обсидиана, металлов и экзотических пигментов, жители деревни также регулярно взаимодействовали с чужаками посредством межплеменных браков, путешествий и торговли[711]. Как мы уже отмечали, говоря о традиционных баскских деревнях, такого рода занятия иногда могут требовать сложных математических вычислений. Но этот факт сам по себе не объясняет, почему у жителей деревни возникла необходимость использовать точные системы измерения и создавать архивы. В конце концов, история человечества знает тысячи сельскохозяйственных общин, которые успешно справлялись с такими сложными задачами, не создавая при этом новые методы ведения учета.

Каковы бы ни были причины, внедрение этих методов, похоже, оказало огромное влияние на жителей доисторической Месопотамии и окружающих ее холмов. Вспомним, что поселение Телль Сади Абьяд было основано за две тысячи лет до появления первых городов. За столь долгий срок деревни Ближнего Востока претерпели несколько важных изменений. В некоторых отношениях члены небольших общин начали вести себя так, словно они жили в массовых обществах, несмотря на то что никто из них в жизни не видел городов. Звучит нелогично, но именно на это указывают находки в деревнях, разбросанных по всему огромному региону, который вытянулся от юго-западной части Ирана до Малоазиатского нагорья и включал в себя значительную часть территории Ирака. Во многих отношениях мы можем назвать этот регион особой разновидностью «культурного ареала» или зоны гостеприимства, о которых шла речь в предыдущих главах. Однако было и существенное отличие: похоже, родственные связи между далекими домохозяйствами и семьями в значительной степени основывались на принципе культурного однообразия. Можно сказать, что это была первая эпоха «глобальной деревни»[712].

Описываемые процессы оставляли характерные следы, которые невозможно не заметить в ходе археологических раскопок. Здесь мы опираемся на свой личный опыт, поскольку один из авторов этой книги проводил раскопки в доисторических деревнях в иракском Курдистане, которые относятся к периодам до и после этой великой трансформации. В V веке до н. э. по мере того, как административные инструменты и новые медиатехнологии распространяются по значительной части территории Ближнего Востока, в деревнях начинают постепенно исчезать наиболее ярко выраженные признаки различий между жителями. Дома теперь строят по всё более стандартизированным трехсторонним планам, а керамические изделия, изготовление которых некогда было способом продемонстрировать

свое индивидуальное мастерство и творческие навыки, теперь становятся нарочито унылыми, однообразными и в некоторых случаях почти стандартизированными. Ремесло в целом становится всё более механическим, а женский труд оказывается подчинен новым формам пространственного контроля и сегрегации[713].

Этот период, который длился около тысячи лет (археологи называют его «убейдским» — по памятнику Тель-эль-Убейд в Южном Ираке), был отмечен инновациями в области металлургии, садоводства, производства тканей и питания, а также увеличением протяженности торговых путей. Однако в социальном отношении делалось всё возможное для того, чтобы эти инновации не стали маркерами индивидуального отличия или маркерами положения в иерархии — иными словами, чтобы предотвратить появление очевидных различий в статусе как среди жителей отдельных деревень, так и между самими деревнями. Быть может, именно тогда, за сотни лет до возникновения первых городов, была создана идеология, открыто декларирующая принцип равенства. Также, возможно, первые административные инструменты были созданы не для присвоения и накопления богатства, а для того, чтобы этого не допустить[714]. Чтобы понять, как такие небольшие бюрократические аппараты могли работать на практике, ненадолго вернемся к айлью — кланам андских деревень, которые, как мы отмечали ранее, разработали свою собственную систему управления.

Айлью также опирались на принцип равенства своих членов. Они даже носили униформу: у жителей каждой долины был свой традиционный стиль одежды. Одной из основных функций айлью было перераспределение сельскохозяйственных земель между семьями по мере увеличения или уменьшения их численности, чтобы ни одна семья не стала богаче других. Более того, «богатым» считалось такое домохозяйство, в котором было много незамужних или неженатых детей, поскольку именно такие семьи имели больше всего земли, а другого критерия уровня благосостояния не существовало[715]. Система айлью также помогала семьям справиться с сезонным дефицитом рабочей силы и следила за количеством трудоспособных молодых мужчин и женщин в каждом домохозяйстве. Это требовалось не только для того, чтобы убедиться, что ни одна семья в критический момент не столкнется с дефицитом рабочих рук, но и для того, чтобы быть уверенными в том, что старики, немощные, вдовы, сироты и люди с инвалидностью получают необходимый уход.

Отношения между домохозяйствами строились на принципе взаимно выгодного обмена. Все кредиты и задолженности записывались — их требовалось погасить до конца каждого года. Здесь в дело и вступала «деревенская бюрократия». Необходимо было оценить объемы проделанной работы таким образом, чтобы решить все споры, неизбежно возникающие в такой ситуации, — кто и что сделал, кто кому остался должен[716]. По всей видимости, у каждого айлью были свои узелки кипу, которые постоянно завязывались и перевязывались, чтобы зафиксировать появление нового долга или его погашение. Возможно, кипу были придуманы именно для таких целей. Иначе говоря, несмотря на то, что в Андах и в доисторической Месопотамии использовались различные административные инструменты, их появление было вызвано аналогичными причинами, а в их основе лежал явный идеал равенства[717].

Конечно, подобные бухгалтерские процедуры опасны тем, что их можно использовать в иных целях: лежащая в их основе система эквивалентности может придать видимость справедливости и равенства любой форме социального устройства, даже основанной на произвольном насилии (например, на «завоевании»). Вот почему суверенитет в совокупности с административным аппаратом потенциально представляют собой столь опасное сочетание. Административный аппарат уравнивает подданных и превращается в инструмент господства над обществом и даже тирании.

Вспомним, что в Империи инков все айлью были низведены до статуса «покоренных женщин», а нити кипу стали использоваться для учета трудовых повинностей в пользу имперских властей. В отличие от практик учета на местном уровне, эти записи не подлежали изменению: узелки никогда не развязывались и не перевязывались. Здесь нам нужно развенчать несколько мифов об Империи инков, которую иногда изображают как самую мягкую из всех империй в истории человечества или даже как протосоциалистическое государство. Своим социальным обеспечением Империя инков была обязана существовавшей в еще доимперские времена системе айлью. Напротив, внедренная инками всеобъемлющая административная структура была нацелена главным образом на извлечение ресурсов и эксплуатацию подданных (даже если имперские чиновники на местах утверждали, что они действуют в соответствии с принципами айлью). Для централизованного контроля и учета домохозяйства были разделены на группы по десять, пятьдесят, сто, пятьсот, тысячу, пять тысяч и так далее домов, каждая из которых несла дополнительные трудовые повинности помимо тех, что они уже были должны местной общине. Всё это могло лишь разрушить существующие связи, территориальное устройство и общинную организацию[718]. Барщинные работы равномерно распределялись в соответствии с жесткой шкалой измерений; в том случае, если для подданных не было никакой работы к исполнению, ее могли им просто придумать; непослушание каралось суровым наказанием[719].

Результаты были предсказуемы, они отражены в наблюдениях испанских хроникеров того времени, которые, очевидно, заинтересовались инкскими стратегиями захвата и доминирования и тем, как они работали на практике. Лидеры общин, по сути, стали госслужащими и либо пользовались новыми законами ради личного обогащения, либо пытались защитить себя и своих подопечных, попавших в беду. Неспособных отработать трудовую повинность, а также бунтовщиков и беглецов обращали в слуг или (если речь шла о женщинах) в наложниц инкского двора и чиновников[720]. Во времена испанского завоевания численность этого нового класса наследственных пеонов стремительно увеличивалась.

Это не означает, что инки не заслужили свою репутацию умелых администраторов. Очевидно, что они вели подсчет числа рождений и смертей, во время ежегодных праздников вносили изменения в записи о численности домохозяйств и так далее. Но почему они решили внедрить поверх существующей гибкой системы айлью другую систему, неповоротливую и монолитную? Кажется, явная жестокость и требование соблюдать правила, даже если они не имеют никакого смысла, — это ключевые характеристики таких систем. Возможно, таким образом суверенитет и проявляет себя в бюрократической форме. Игнорируя уникальную историю каждого отдельного домохозяйства, каждого отдельного

человека и сводя всё к численным показателям, административный аппарат предлагает людям язык равенства, но одновременно создает ситуацию, в которой всегда будут люди, не способные выполнять возложенные на них обязательства, и, следовательно, всегда будут пеоны, должники и рабы.

Судя по всему, на Ближнем Востоке в более поздний период происходило нечто похожее. Возможно, самый знаменитый из таких случаев описан в пророческих книгах Танаха, где рассказывается о массовых протестах, которые начались после того, как из-за требования платить дань земледельцы оказались в нищете, были вынуждены заложить свои стада и виноградники и даже отдать детей в долговое рабство. Бывало и так, что богатые торговцы и чиновники пользовались неурожаями, наводнениями, природными катастрофами и просто невезением своих соседей и предлагали им деньги под проценты, что приводило к столь же плачевным результатам. Похожие жалобы также были зафиксированы в Китае и Индии. Появление бюрократических империй практически неизменно сопровождается разгулом системы равнозначности. Здесь у нас нет возможности изложить историю денег и долга[721], поэтому лишь отметим, что такие общества, как Месопотамия урукского периода, неслучайно были одновременно торговыми и бюрократическими. И денежная система, и бюрократический аппарат основаны на аналогичных принципах безличной равнозначности. Здесь мы хотим подчеркнуть, что самые жестокие формы неравенства очень часто возникают на основе подобных иллюзий юридического равенства. Все люди, жившие в древнем городе, верившие в его богов и подчинявшиеся его царю, считались равными — по крайней мере, в этом конкретном отношении. Все они подчинялись одним и тем же законам, имели одни и те же права и обязанности — либо как отдельные личности, либо, в более поздние и более патриархальные времена, как члены семьи под началом *paterfamilias*{88}.

Здесь важно то, что такое равенство делало людей (а также предметы) взаимозаменяемыми, что в свою очередь позволяло правителям или их приспешникам распоряжаться подданными, рассматривая их как безличную массу и не принимая во внимание их уникальные жизненные ситуации. Именно по этой причине слово «бюрократия» имеет сегодня такую дурную репутацию и ассоциируется с механической тупостью. Но нет никаких оснований полагать, что безличные системы с самого начала действовали тупо или что они тупые по своей природе. Если в расчетах боливийских айлью и баскских советов (или руководителей неолитической деревни Телль Саби Абыад и их последователей в городах Месопотамии) встречались ошибки, то их всегда можно было скорректировать. Любой человек, который жил в сельской общине или работал в муниципальном или приходском совете крупного города, знает, что на устранение подобных проблем может уйти множество часов или даже дней утомительных дискуссий, в результате которых почти всегда удастся найти решение, хотя бы минимально удовлетворяющее интересы всех сторон. Именно дополнение бюрократии принципом суверенитета, которое позволяет местному князьку заявить, что «правила есть правила; я ничего не хочу слышать о ваших проблемах», делает бюрократические механизмы по-настоящему чудовищными.

В этой книге мы неоднократно упоминали о трех исконных свободах, которые считались чем-то само собой разумеющимся для человека на протяжении большей части истории: свободе передвижения, свободе не подчиняться приказам и свободе создавать или

изменять социальные отношения. Мы также отмечали, что английское free («свободный») происходит от немецкого слова «друг», поскольку рабы, в отличие от свободных людей, не способны иметь друзей, так как они не могут брать на себя обязательства и давать обещания. Свобода давать обещания — это основное и минимальное условие третьей свободы, так же как физический побег от трудной ситуации — основной элемент первой. Древнейшее слово со значением «свобода» — это шумерское слово ама(р) — ги, в буквальном переводе означающее «возвращение к матери». Дело в том, что шумерские цари время от времени издавали указы об освобождении от долгов, которые аннулировали все некоммерческие долги и в некоторых случаях позволяли долговым пеонам, которые проживали в домохозяйствах своих кредиторов, вернуться к своей семье[722].

Тут может возникнуть вопрос: каким образом основополагающий элемент всех человеческих свобод, свобода давать обещания и брать на себя обязательства и, следовательно, строить отношения с людьми, обратился в свою полную противоположность, породив пеонаж, крепостное право и пожизненное рабство? Мы считаем, что это произошло именно в тот момент, когда обещания, которые люди дают друг другу, стали безличными, когда их стало возможно передавать другим людям — короче говоря, когда они бюрократизировались. Ирония заключается в том, что представление мадам де Графиньи об Империи инков как о модели благосклонного бюрократического государства было связано с распространенной ошибкой в интерпретации источников. Как и многие другие, она восприняла социальное обеспечение, за которое отвечали местные органы самоуправления (айлью), как результаты деятельности имперской администрации. При этом единственной целью этой администрации было обеспечение армии, духовенства и чиновников[723]. Цари Месопотамии и Китая позднейшего периода, как и египетские номархи, тоже любили строить из себя благородных правителей, которые защищают слабых, кормят голодных и поддерживают вдов и сирот.

Государственная бюрократия связана с принципом заботы точно так же, как деньги связаны с обещаниями. В обоих случаях ключевые элементы общественной жизни (забота, обещания) становятся искажены комбинацией математических расчетов и насилия.

## Раздел, в котором мы, вооруженные новым знанием, пересматриваем базовые предпосылки теории социальной эволюции

Социальные исследователи и политические философы уже больше века спорят об «истоках государства». Эти споры ни к чему не привели и, видимо, ни к чему не приведут. Теперь мы хотя бы понимаем почему. Поиск истоков государства, как и поиск «истоков неравенства», — это охота на привидений. Как мы отметили в начале главы, испанские конкистадоры не задавались вопросом о том, являются ли общества коренных американцев «государствами»,

— в то время такой концепции попросту не существовало. Понятия, которые они использовали (царство, империя, республика), были ничуть не хуже, а во многих отношениях даже лучше наших.

Конечно, историки и по сей день используют эти понятия. При этом социальные исследователи отдают предпочтение таким терминам, как «государство» и «формирование государства», считая их более научными, несмотря на отсутствие четкого определения государства. Их мотивы не совсем ясны. Возможно, отчасти это вызвано тем, что понятие «государства» появилось одновременно с современной наукой и эти явления были с самого начала взаимосвязаны. Какова бы ни была причина, современные исследователи настолько заиклены на едином нарративе о постепенном усложнении общества, появлении иерархий и формировании государства, что очень трудно использовать это понятие в другом контексте.

Сейчас наша планета почти полностью покрыта государствами. Из-за чего может показаться, что итог был неизбежен. Но когда на основе современной ситуации выдвигаются «научные» предположения о том, как мы к такому пришли, они зачастую не подтверждаются эмпирическими данными. Как правило, в подобных случаях некоторые характерные черты современной политической реальности попросту проецируются в прошлое. Предполагается, что они непременно возникают, как только общество достигает определенного уровня сложности — если нет свидетельств, доказывающих обратное.

Например, принято считать, что государство возникает в тот момент, когда три основные функции власти — военная, административная и судебная — оказываются в руках специалистов с постоянной занятостью. Звучит логично, но только в том случае, если вы принимаете нарратив, согласно которому появление сельскохозяйственного излишка «освободило» значительную часть населения от обременительной обязанности добывать пищу, необходимую для выживания коллектива. Получается, что именно в этот момент был запущен процесс, результатом которого стало текущее глобальное разделение труда. Нам говорят, что первые государства в основном использовали этот излишек для обеспечения профессиональной бюрократии, духовенства и армии, но при этом постоянно напоминают, что его существование также позволяло содержать архитекторов, поэтов и астрономов.

Это убедительная история. Действительно, сейчас дела примерно так и обстоят (по крайней мере, сравнительно малая часть населения планеты занимается производством и распределением продуктов питания). Однако практически ни один из рассмотренных в этой главе режимов не мог похвастаться наличием специалистов с постоянной занятостью. Прежде всего бросается в глаза то, что ни у одного из них, похоже, не было регулярной армии. Военные действия в основном велись в перерывах между сельскохозяйственными работами. Жрецы и судьи редко работали «на полную ставку». Большинство правительственных институтов в египетском Древнем царстве, Китае эпохи правления династии Шан, Месопотамии раннединастического периода или классических Афин состояли из временных работников, которые, помимо своих основных обязанностей, могли также управлять сельскими поместьями, заниматься торговлей, строительством и много чем еще[724].

Можно пойти еще дальше и предположить, что некоторые из «ранних государств» были отчасти сезонными явлениями (вспомним, что в ледниковый период во время сезонных собраний разыгрывались представления, немного напоминающие функционирование царской власти; правители находились на троне только в определенные времена года; некоторые кланы и сообщества воинов обладали полицейскими полномочиями, но только в зимние месяцы)[725]. Как правило, и военные кампании, и государственные дела приходились на определенные времена года: были месяцы, когда шло активное строительство, проводились конкурсы, праздники, переписи населения, судебные процессы и показательные казни и приносились клятвы верности; в остальное время подданные царя (а иногда даже и сам царь) занимались более насущными делами: посадкой и сбором урожая, выпасом скота и так далее. Это не означает, что эти царства не были настоящими, — их правители были в состоянии мобилизовать или даже убить и покалечить тысячи людей. Это лишь означает, что они существовали эпизодически. Царства появлялись, а затем исчезали.

Могло ли произойти так, что подобно игровому земледелию (так мы обозначаем гибкие методы культивирования зерновых, дававшие возможность параллельно заниматься любыми другими сезонными промыслами), ставшему серьезным, игровые царства также постепенно начали всё больше наполняться реальным содержанием? Источники по истории Древнего Египта дают возможность для такой интерпретации. Но также возможно, что оба процесса были обусловлены каким-то иным фактором вроде возникновения патриархальных отношений и утраты женщинами власти внутри домохозяйств. Именно такие вопросы мы и должны задавать. Данные этнографии также говорят о том, что цари редко довольствуются спорадическим присутствием в жизни своих подданных. Даже правители царств, которые никто не думает называть государствами (вроде рет у шиллук или мелкие князьки на Яве и Мадагаскаре), пытались стать неотъемлемой частью повседневной жизни общества, настаивая на том, что все должны произносить их имя во время принесения клятв, заключения браков и даже просто приветствуя друг друга. Таким образом, фигура царя становится тем необходимым средством, при помощи которого подданные устанавливают отношения друг с другом, — аналогичным образом в позднейшие эпохи главы государств будут требовать, чтобы их лица изображались на деньгах.

В 1852 году министр-уэслианец и миссионер Ричард Б. Лит рассказал о фиджийском царстве Какаудрове, где существовало правило, которое требовало соблюдения тишины во время восхода солнца. В этот момент царский глашатай объявлял, что правитель собирается начать жевать корень кавы, на что все его подданные отвечали: «Жуй!» По завершении ритуала они издавали громоподобный рев. Правитель был воплощением солнца, который даровал жизнь и порядок своему народу. Каждый день он воссоздавал вселенную. Большинство современных исследователей утверждают, что на самом деле он был не царем, а лишь предводителем «конфедерации вождеств», который управлял несколькими тысячами людей. Подобные утверждения космического масштаба регулярно звучали во время царских ритуалов по всему миру, и уровень притязаний правителя, похоже, не имел никакого отношения к его реальной власти (как и к его способности заставлять людей делать то, чего они не хотят). Если термин «государство» что и обозначает, то именно этот тоталитарный импульс, который стоит за всеми такими заявлениями, — желание сделать так, чтобы ритуал продолжался вечно[726].

По всей видимости, монументальные сооружения вроде египетских пирамид служили аналогичной цели. Отдавая приказы о возведении, фараоны хотели сделать свою власть — которая давала о себе знать только во время строительства пирамид — вечной. Надписи и предметы, призванные изобразить правителей носителями космической власти (дворцы, мавзолеи и роскошные стелы с богоподобными фигурами правителей, оглашающими законы или хвастающимися своими завоеваниями), чаще всего оказываются очень долговечными и поэтому составляют основную часть объектов мирового наследия и музейных коллекций сегодня. Сила этих монументов столь велика, что мы и теперь рискуем попасть под их чары. Мы не знаем, насколько серьезно следует к ним относиться. В конце концов, фиджийские подданные правителя Какаудрове должны были охотно подыгрывать своему царю во время ежедневного ритуала на рассвете, ведь у того не было возможности принуждать их силой. Однако такая возможность была у Саргона Великого и первого императора Китая, поэтому мы знаем еще меньше, что на самом деле думали их подданные о масштабных притязаниях своих правителей[727].

Чтобы понять реалии власти (будь то в современном или в древнем обществе), необходимо увидеть разрыв между притязаниями элит и тем, что они на самом деле могут. Как давно заметил социолог Филипп Абрамс, неспособность провести это разграничение часто заводит социальных исследователей в тупик, поскольку государство — это «не реальность, которая скрывается за маской политической практики. Это и есть маска, которая мешает нам увидеть политическую практику такой, какая она есть». Он утверждал, что для того, чтобы понять политическую практику, нам необходимо обратить внимание не на то, «как государство существует, а на то, как оно не существует»[728]. Мы видим, что эти положения применимы к древним политическим режимам в той же (если не в большей) степени, что и к современным.

На протяжении долгого времени истоки «государства» искали в таких непохожих друг на друга местах, как Древний Египет, Империя инков (Перу) и Китай времен правления династии Шан. Однако то, что мы сейчас считаем государством, вовсе не является исторической константой. Государство — не результат долгого эволюционного процесса, который начался в бронзовом веке, а следствие слияния трех политических форм (суверенитета, административного аппарата и соревнования харизматических лидеров), имеющих разное происхождение. Современное государство — лишь один из возможных вариантов сочетания трех принципов господства. В этом варианте присутствует идея, что власть, некогда находившаяся в руках царей, теперь принадлежит общности под названием «народ» (или «нация») и что бюрократия служит интересам этого «народа», а вариации на тему старых аристократических соревнований называются «демократией», чаще всего в виде общенациональных выборов. Появление такой формы политического устройства не было неизбежным. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, что сейчас эта форма находится в глубоком кризисе. Как мы отмечали, сегодня существуют глобальные бюрократические системы (государственные и частные, начиная с Международного валютного фонда и Всемирного торгового банка и заканчивая J. P. Morgan Chase и различными рейтинговыми агентствами), не обладающие глобальным суверенитетом или глобальной сферой конкурентной политики. Кроме того, суверенитет государства подрывает множество других явлений современности: от криптовалют да частных охранных предприятий.

Если раньше мы считали «цивилизацию» и «государство» двумя неразрывно связанными вещами, полученными нами в одном историческом комплекте, то теперь сама история демонстрирует, что за этими понятиями скрываются сложные сочетания элементов, которые имеют абсолютно разное происхождение и которые постепенно отдаляются друг от друга. С этой точки зрения переосмыслить основные предпосылки теории социальной эволюции — значит переосмыслить саму идею политики.

## Кода: о цивилизации, голых стенах и историях человечества, которые еще предстоит написать

Если задуматься, то это довольно странно, что термин «цивилизация», который мы до сих пор практически не обсуждали, вообще стал использоваться в подобном ключе. Когда люди говорят о «древних цивилизациях», то в основном имеют в виду те самые общества, о которых шла речь в этой главе, или их прямых наследников: Египет эпохи фараонов, империю инков, империю ацтеков, императорский Рим, Древнюю Грецию и другие общества, которые достигли определенного масштаба и монументальности. Все эти общества были глубоко стратифицированными, а их единство в основном обеспечивалось за счет авторитарного правления, насилия и радикального подчинения женщин. Как мы увидели, идея жертвы и жертвоприношения — это тень, скрывающаяся за такой концепцией цивилизации: жертвоприношение трех наших основных свобод и самой жизни ради чего-то, что недостижимо — будь то идеал мирового порядка, небесный мандат или благословения от ненасытных богов. Стоит ли удивляться, что в некоторых кругах сама идея «цивилизации» приобрела дурную славу? Здесь явно что-то пошло не так.

Одна из проблем заключается в том, что мы начали ассоциировать «цивилизацию» с городским образом жизни. А для существования городов, как предполагалось, требуется наличие государства. Однако, как мы увидели, это неверно как с исторической, так и с этимологической точки зрения[729]. «Цивилизация» происходит от латинского слова *civilis*, которое на самом деле обозначает политическую мудрость и взаимопомощь, благодаря которым общества самоорганизуются путем добровольного объединения. Иначе говоря, изначально это слово использовалось применительно к тем качествам, что были присущи членам андских айлью и жителям баскских деревень, а не инкским придворным или членам династии Шан. Если взаимопомощь, кооперация, гражданский активизм, гостеприимство и просто забота о других — это то, благодаря чему создаются цивилизации, тогда подлинную историю цивилизации еще только предстоит написать.

Как мы увидели в пятой главе, Марсель Мосс сделал несколько первых осторожных шагов в этом направлении, но его начинания по большей части были проигнорированы. Как он и предполагал, написание такой истории вполне может начаться с изучения тех самых обширных «культурных ареалов» и «сфер взаимодействия», развитие которых археологи сегодня прослеживают вплоть до периодов, которые предшествовали появлению первых

царств, империй и даже городов. Как мы уже увидели, материальные свидетельства, оставленные домашней жизнью, ритуалами и искусством гостеприимства, способны показать нам глубинную историю цивилизации. В каком-то смысле история этих вещей вдохновляет гораздо больше, чем древние монументы. Возможно, наиболее важными открытиями современной археологии является именно обнаружение этих динамичных и разветвленных сетей родства и торговли там, где любители беспочвенных спекуляций рассчитывали обнаружить лишь отсталые и изолированные «племена».

Как мы показываем на протяжении всей книги, во всех частях света небольшие сообщества создавали цивилизации в подлинном смысле этого слова, то есть расширенные моральные сообщества. Эти цивилизации не имели постоянных правителей, бюрократов и профессиональных армий, но они тем не менее были способны развивать математические знания и сложные календарные системы. В одних регионах представители этих цивилизаций становились первопроходцами в области металлургии, выращивания оливок, винограда и финиковых пальм, изобретении дрожжевого хлеба и пшеничного пива, в других — одомашнивали маис и учились получать из растений яды, лекарственные и психотропные вещества, способные изменять сознание. Цивилизации в подлинном смысле этого слова разработали основные текстильные технологии, применяемые при изготовлении тканей и плетении корзин, изобрели гончарный круг, парус и средства для морской навигации, научились обрабатывать камень, плести бисер и так далее.

Несколько мгновений требуется, чтобы понять, что для цивилизации в этом, более точном, смысле слова ключевое значение имеют женщины, их труд, переживания и те инновации, которые они совершали. Как мы увидели в предыдущих главах, для того чтобы понять, какое место женщины занимали в обществах, где не было письменности, нам зачастую необходимо использовать подсказки, оставленные (иногда в прямом смысле слова) в ткани материальной культуры — например, на расписной керамике, которая своими формами и замысловатыми рисунками подражает одновременно узорам на тканях и женским телам. Приведем всего два примера. Трудно поверить, что сложные математические знания, изложенные в ранних месопотамских клинописных документах или использовавшиеся при планировке чавинских храмов в Перу, в готовом виде были произведены писцами или скульпторами мужского пола подобно тому, как Афина появилась на свет из головы Зевса. Гораздо вероятнее, что эти знания накапливались столетиями, благодаря конкретным практикам стереометрии и прикладных вычислений, необходимых при производстве тканей и бисероплетении[730]. Возможно, то, что до настоящего момента выдавалось за «цивилизацию», на самом деле может быть не чем иным, как гендерной апроприацией древней системы знания, центральное место в которой занимали женщины, мужчинами, которые высекли свой след в камне.

Мы начали эту главу с того, что отметили, как часто экспансия амбициозных политий и концентрация власти в руках немногочисленных элит сопровождалась маргинализацией женщин и даже их насильственным подчинением. Это верно не только в отношении первого (империя ацтеков или египетское Древнее царство), но и второго порядка — например, Чавин-де-Уантр. Но как быть в тех случаях, когда даже после увеличения масштабов общества и появления централизованных форм управления женщины и их интересы по-прежнему оставались в основе природы вещей? Знает ли история подобные случаи? Здесь

мы подходим к нашему последнему примеру: Криту минойского периода.

Что бы ни происходило в бронзовом веке на Крите, крупнейшем и самом южном из островов Эгейского моря, оно явно не вписывается в ту схему, которая изложена в научных сценариях истории «формировании государства». Тем не менее остатки того, что стало называться минойским обществом, слишком внушительны, впечатляющи и располагаются слишком близко к центру Европы (и тому месту, где впоследствии возникли классические античные общества), чтобы исследователи могли позволить себе их проигнорировать. Более того, в 1970-е годы знаменитый археолог Колин Ренфрю опубликовал книгу об Эгейских островах в доисторический период, выбрав для нее название «Возникновение цивилизации», чем вызвал недоумение и раздражение у коллег, специализирующихся на других регионах[731]. Несмотря на то, что исследователи придают столь большое значение Криту минойской эпохи, а на острове уже более ста лет ведутся интенсивные раскопки, Крит остается проблематичным для археологической теории и вызывает недоумение у любого, кто подходит к этой теме со стороны.

Большая часть наших знаний о Крите основана на находках из Кносса и других крупных центров в Фесте, Малии и Закросе, где в период с 1700 по 1450 год до н. э. (период «новых дворцов», или неодворцовый) существовало то, что принято называть «дворцовыми обществами»[732]. Для своего времени это были крайне внушительные поселения. Кносс, чье население составляло около двадцати пяти тысяч человек[733], во многих отношениях напоминал аналогичные города в других частях Восточного Средиземноморья. В центре города находился крупный дворцовый комплекс, изобилующий промышленными помещениями и хранилищами складского типа. У жителей Кносса была своя собственная система письменности на глиняных табличках («линейное письмо А»), которая, к сожалению, так и не была расшифрована[89]. Проблема в том, что, в отличие от других дворцовых обществ примерно того же периода (Мари на берегах сирийского Евфрата, где правил Зимри-Лим, хеттской Анатолии или Египта), Крит минойского периода, по всей видимости, не был монархией — по крайней мере, у нас нет источников, которые бы на это указывали[734].

И дело не в отсутствии свидетельств. Исследователям Крита не приходится жаловаться на нехватку источников. Несмотря на то, что мы не можем расшифровать и прочесть местную письменность, Крит и соседний остров Тира (Санторини) — где под слоем вулканического пепла великолепно сохранился минойский город Акротири — могут похвастаться одной из самых богатых коллекций изобразительного искусства бронзового века, включающей в себя не только фрески, но также изделия из слоновой кости и гравировки на печатях и ювелирных изделиях[735]. Если в минойском искусстве и изображаются носители власти, то это в основном взрослые женщины в смелых узорчатых нарядах, расширяющихся к плечам, но открытых на груди[736]. На изображениях женщины обычно крупнее мужчин: в изобразительном искусстве всех соседних народов это является признаком политического превосходства. Женщины держат в руках символы власти — например, посох, как в случае «Матери гор», которая изображена на оттисках печатей главного святилища в Кноссе. Они совершают обряды плодородия перед рогатыми алтарями, восседают на тронах, участвуют в собраниях без председательства мужчин на них и появляются в сопровождении сверхъестественных существ и опасных животных[737]. С другой стороны, мужчины в

минойском искусстве изображены либо как нарядно одетые или обнаженные атлеты (при этом на Крите не было обнаружено ни одного изображения обнаженной женщины), либо как находящиеся в позах, демонстрирующих уважение, подчинение и раболепство перед высокопоставленными женщинами. В искусстве патриархальных обществ Сирии, Ливана, Анатолии и Египта (все регионы, с которыми критяне того времени были знакомы, поскольку посещали их в качестве торговцев и дипломатов) мы ничего подобного не видим.

Интерпретации, предложенные исследователями минойского дворцового искусства с его многочисленными изображениями властных женщин, вызывают некоторое недоумение. Большинство из них вслед за Артуром Эвансом{90}, проводившим в начале XX века раскопки в Кноссе, считают, что это изображения богинь или жриц, как будто не обладающих земной властью и не имеющих никакой связи с реальным миром[738] В книгах, посвященных эгейскому искусству и археологии, о них обычно рассказывается в разделе «религия и ритуалы», а не «политика», «экономика» или «структура общества». Исследователи, изучающие политическую жизнь Крита минойского периода, практически не привлекают произведения искусства в качестве своих источников. Некоторые их коллеги и вовсе обходят этот вопрос стороной, отмечая, что политическая жизнь на Крите явно отличалась от привычных нам моделей, но остается непроницаемой для нас (здесь можно заметить явный гендерный подтекст). Но стали бы исследователи делать такие заявления, если бы в минойском искусстве преобладали изображения властных мужчин? Это представляется маловероятным, поскольку те же самые исследователи, изучая аналогичные сцены с участием мужчин — рисунки на стенах египетских гробниц или изображения кафторитов (жителей Крита), демонстрирующих свое уважение могущественным египтянам, — трактуют их как отражение реальных отношений власти.

Еще одна загадка Крита — это товары, которые местные купцы импортировали из-за рубежа. Минойцы были торговым народом, а среди торговцев, по всей видимости, преобладали мужчины. Но начиная с протодворцового периода они стали привозить домой предметы, которые явно маркировались как «женские». Египетский сistr, баночки для косметики, фигурки кормящих матерей и амулеты-скарабеи не относились к той сфере придворной культуры, где доминировали мужчины. Они были связаны с ритуалами, проводившимися обычными египетскими женщинами, и гиноцентрическими обрядами богини Хатхор. Этой богине поклонялись и за пределами Египта: в ее честь возводились храмы рядом с синайскими бирюзовыми рудниками и в морских портах, где рогатая богиня превратилась в защитницу всех путешественников. Одним из таких портов был город Библос, расположенный на ливанском побережье Средиземного моря. Там был обнаружен набор косметических средств и амулетов (почти идентичных тем, что были найдены в древних критских гробницах), закопанных в храме в качестве подношения. Вероятнее всего, подобные предметы перемещались вместе с женскими куклами (подобно тому как в позднейшие времена перемещались куклы богини Исиды), следуя за «официальными» мужчинами-торговцами. Концентрация таких предметов, в большом количестве обнаруженных в богатых критских захоронениях (толосах), построенных в протодворцовый период (еще один пример забытого «протопериода»), свидетельствует как минимум о том, что именно женщины обеспечивали спрос на эти товары, которые перемещались в торговых обменах на большие расстояния[739].

Опять-таки, в других регионах всё явно было иначе. Чтобы убедиться в этом, давайте немного поговорим о дворцах материковой Греции, относящихся к чуть более позднему периоду.

Критские дворцы не имели укреплений, а в минойском искусстве практически не встречаются изображения военных действий. Вместо этого основное внимание уделяется играм и заботливым отношениям с животными. Всё это резко контрастирует с тем, что происходило на материковой Греции. Около 1400 года до н. э. в Микенах, Пилосе и Тиринфе воздвигаются обнесенные стенами цитадели, и в скором времени греческие правители захватывают Крит, оккупировав Кносс и взяв под контроль внутренние районы острова. По сравнению с Кноссом или Фестом, резиденции греческих правителей — это не более чем городища, расположенные на ключевых перевалах Пелопоннеса и окруженные небольшими деревнями. В Микенах, крупнейшем из греческих центров, проживало около шести тысяч человек. В этом нет ничего удивительного, ведь дворцовые общества материковой Греции возникли не на основе уже существовавших, а из воинских аристократий, которые в более ранний период возвели микенские шахтовые гробницы, в которых были обнаружены посмертные маски из золота и инкрустированное им оружие с изображением мужчин-воинов и охотников[740].

К этой институциональной основе — военачальник в сопровождении отряда охотников — вскоре добавилось придворное убранство, заимствованное в основном из критских дворцов, и письменность (линейное письмо Б){91}, приспособленная для ведения административной документации на греческом языке. Анализ табличек с линейным письмом Б свидетельствует о том, что административная работа в основном выполнялась небольшой группой грамотных чиновников, которые лично инспектировали посевы и скот, собирали налоги, снабжали ремесленников материалами и предоставляли еду для проведения праздников. Административный аппарат был довольно скромным[741], а микенский ванакс (правитель или военачальник) за пределами своей цитадели практически не обладал суверенной властью, довольствуясь сезонным сбором дани с обитателей окрестных земель, жизнь которых в остальное время года протекала вне поля зрения царя[742].

Микенские правители заседали в мегаронах или больших залах, один из которых довольно хорошо сохранился в Пилосе. Раскопавшие его археологи явно поспешили с выводами, решив, что перед ними жилище царя Нестора из «Илиады» Гомера. Однако нет никаких сомнений в том, что гомеровским царям такое жилище пришлось бы по вкусу. В центре мегарона располагается огромный очаг, над ним — отверстие для выхода дыма; вероятнее всего, остальная часть помещения, в том числе то место, где находился трон, пребывала во тьме. На стенах мы видим фрески с изображением быка, ведомого на заклание, и барда, играющего на лире. Сам ванакс не изображен на фресках, но он явно играл главную роль в этих сценах, так как все нарисованные процессы направляются к его трону[743].

Сравним это сооружение с тем, что Артур Эванс назвал «тронным залом» кносского дворца на Крите. В кносском дворце предполагаемый трон выходил на открытое пространство и был окружен каменными скамьями, выстроенными симметричными рядами, благодаря чему собравшиеся могли комфортно сидеть во время долгих заседаний и наблюдать друг друга. Рядом располагалась ступенчатая купальня. В минойских домах и дворцах встречается

множество подобных «люстральных бассейнов»{92}, как их назвал всё тот же Эванс. Археологи десятилетиями ломали голову над их назначением, пока в Акротири не был найден один такой бассейн, расположенный прямо под рисунком, изображающим церемонию женской инициации, связанную, вероятнее всего, с менструацией[744]. Если рассуждать с чисто архитектурной точки зрения, игнорируя настойчивые заявления Эванса о том, что эти сооружения «больше подходят для мужчин», разумно предположить, что в центральной части тронного зала сидел не мужчина-монарх, а скорее глава совета, в который, вероятно, входили и женщины.

Практически все имеющиеся источники по истории Крита минойского периода указывают на существование там системы женского политического управления — своего рода теократии, которая управлялась коллегией жриц. Возникает вопрос: почему исследователи упрямо отказываются признать это? Тот факт, что в начале XX века сторонники идеи «примитивного матриархата» поторопились с выводами, не означает, что история человечества не знает примеров женской власти. Исследователи обычно указывают на то, что в этнографических и исторических источниках не встречаются города под управлением советов жриц. Но по той же логике можно сказать, что мы не знаем примеров царств под управлением мужчин, в искусстве которых властные фигуры — исключительно женщины. Очевидно, что на Крите всё было по-другому.

Изображения, созданные минойскими художниками, свидетельствуют о том, что они воспринимали мир совершенно иначе, нежели их соседи из материковой Греции. В эссе под названием «Формы минойского желания» Джек Демпси отмечает, что в минойском обществе эротическое внимание было перенесено с женского тела на все остальные аспекты жизни, начиная с гибких, полураздетых фигур молодых людей, которые ныряют в тела дразнящих их быков или изгибаются в спортивных упражнениях, и заканчивая обнаженными мальчиками, которые несут рыбу. Всё это очень далеко от грубых фигур животных, населяющих стены мегарона в Пилосе, оформления резиденции Зимри-Лима и жестоких батальных сцен, изображенных на ассирийских настенных рельефах позднейшего периода. На минойских фресках всё сливается друг с другом — за исключением четко очерченных фигур женщин-предводительниц, изображенных по отдельности или в небольших группах: они весело болтают друг с другом или любят как-нибудь зрелищем. Цветы, тростник, птицы, пчелы, дельфины, даже холмы и горы находятся в вечном танце, то сближаясь, то отделяясь друг от друга.

Предметы минойской материальной культуры тоже перетекают друг в друга в необычайной игре материалов (настоящей «науке конкретного»), где керамика превращается в покрытую наростами раковину, а камень, металл и глина сливаются в одно общее царство форм, подражая друг другу.

Всё это происходит под волнообразные ритмы моря, которое выступало фоном для этого праздника жизни, при полном отсутствии «политики» в привычном нам понимании и того, что Демпси называет «властным и замкнутым на себе эго». По его меткому замечанию, эти изображения прославляют нечто, прямо противоположное политике: «освобождение от индивидуальности через ритуал и экстаз бытия, откровенно эротический и духовный одновременно (ek-stasis, „быть вне себя“), — космос, одновременно питающий и

игнорирующий индивидуальное, который вибрирует от сексуальной энергии, неразрывно связанной с духовными прозрениями». В минойском искусстве нет героев — только игроки. Дворцовый Крит был царством Homo ludens. Или правильнее было бы сказать: Femina ludens или даже Femina potens{93}[745].

Кратко резюмируем сказанное в этой главе. Процесс, обычно называемый «формированием государства», на самом деле объединяет ошеломляющее множество совершенно разных вещей: состязание азартных и тщеславных игроков, которое пошло не по плану; необратимое развитие ритуала кормления мертвых; истребление людей в промышленных масштабах; апроприацию женского знания мужчинами; правление коллегий жриц. Но, проведя более детальный сравнительный анализ, мы также выяснили, что диапазон возможностей далеко не безграничен.

На самом деле, по-видимому, существуют как логические, так и исторические ограничения разнообразия способов, с помощью которых власть может расширять свои масштабы. Эти ограничения лежат в основе наших «трех принципов»: суверенитета, администрации и соревновательной политики. Однако мы также можем увидеть, что даже в условиях этих ограничений в истории человечества происходили гораздо более интересные вещи, чем мы могли бы себе вообразить, придерживаясь любого из общепринятых определений «государства». Что же на самом деле происходило в минойских дворцах? По-видимому, они в каком-то смысле были театральными подмостками, женскими обществами инициации и административными центрами одновременно. Были ли они тогда вообще особым «режимом господства»?

Важно помнить, что имеющиеся в нашем распоряжении источники распределены очень неравномерно. Что бы мы могли сказать о Крите минойского периода, Теотиуакане или Чатал-Хююк, если бы до нас не дошла их искусная настенная живопись? Рисование на стенах — это то, к чему склонны люди в практически любой культурной среде с того самого момента, как человек появился на земле. Несомненно, аналогичные рисунки на шкурах, тканях и стенах создавались и во всех остальных «ранних государствах», от которых сейчас остались лишь голые каменные строительные блоки и сооружения из глинобитного кирпича.

Используя новые научные методы, археологи, несомненно, откроют множество других «затерянных цивилизаций», следы которых уже сейчас обнаруживаются по всему миру: от пустынь Саудовской Аравии и Перу до (как раньше казалось, пустующих) степей Казахстана и тропических лесов Амазонии. По мере того как с каждым годом мы всё больше узнаем о крупных поселениях и внушительных сооружениях в тех регионах, где их никто не ожидал обнаружить, нам следует отказаться от привычки проецировать в прошлое образ современного национального государства и вместо этого подумать о том, какие виды социальных возможностей{94} таит в себе это прошлое.

---

Версия #1

Зверобой создал 8 февраля 2026 01:01:48

Зверобой обновил 8 февраля 2026 01:06:51